

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XVIII.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY; E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI; FERENC PAPP



DEBRECEN, 1981

**СОТРУДНИКИ
НАШЕГО ТОМА**

ЛУИ АЛЛЕН

профессор, заведующий кафедрой
русской литературы университета
(Франция, Лилль)

Ю. БОРСУКЕВИЧ

доцент при кафедре русской филологии
Университета им. Мари Кюри-Склодов-
ской
(Польша, Люблин, Новотки 14.)

А. В. ГЛАДКИЙ

(см. Slavica XVII.)

В. К. ЖУРАВЛЕВ

старший научный сотрудник,
доктор филологических наук,
Институт Языкознания АНССР
(СССР, Москва, ул. Маркса и Энгельса
2/14.)

ЭНДРЕ ИГЛОИ

см. Slavica XIV.)

(ЛАСЛО КАРАНЧИ

(см. Slavica XI.)

ПАЛ ЛИЛИ

старший преподаватель
(см. Slavica XIII.)

В. М. МАРКОВИЧ

доцент кафедры истории русской
литературы ЛГУ
(СССР, Ленинград)

Й. АННА МАТИ

(см. Slavica XVII.)

В. П. НЕРОЗНАК

научный сотрудник, кандидат наук,
Институт Языкознания АНССР
(СССР, Москва, ул. Маркса и Энгельса
2/14.)

ЭСТЕР ОЙТОЗИ

(см. Slavica XII.)

ИШТВАН ФРИД

(см. Slavica XVII.)

ЛАЙОШ ХОПП

(см. Slavica XV.)

ЛАСЛО ХУНЯДИ

старший преподаватель
при кафедре русского языка
(Венгрии, 4010 Дебрецен)

ЛАСЛО ЯГУСТИН

(см. Slavica XV.)

SLAVICA XVIII.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XVIII.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP

DEBRECEN, 1981

Проблемы реконструкции праязыкового состояния

В. К. ЖУРАВЛЕВ—В. П. НЕРОЗНАК

В начале XX века проблемы теории реконструкции были отодвинуты на задний план практикой и теорией установления межъязыковых соответствий и методом относительной хронологии, а также получившим тогда бурное развитие в этимологических исследованиях направлением «Wörter und Sachen». Ныне, как и столетие тому назад, центральное место в компаративистике вновь занимают проблемы реконструкции, как в теоретическом, так и в практическом плане. Наряду с серьезными практическими достижениями в области реконструкции праязыкового состояния на всех ярусах системы языка, достигнутыми как в общем индоевропейском языкознании, так и в особенности в славянском языкознании¹, а также в более молодых отраслях компаративистики в тюркологии, картвелистике и др., идет оживленное обсуждение теоретических проблем реконструкции.

Настоящая статья ставит своей целью обсудить современное состояние теории реконструкции с преимущественным вниманием к таким дискуссионным проблемам, как проблема реальности реконструкции, феномен неоднозначности решений, соотношение генетического и типологического методов при реконструкции.

Современный этап развития компаративистики знаменуется завершением перехода от реконструкции «архетипов», элементов «инвентаря» системы к реконструкции целостной системы языка, ее отдельных блоков, подсистем и ярусов. Центр тяжести современных исследований сместился с выяснения вопроса «а существовал ли данный элемент в праязыке и как он выглядел?» на постановку вопроса «мог ли данный реконструируемый элемент сосуществовать с другими, ранее реконструируемыми элементами в праязыковой системе и как она, система, выглядела?». Осуществился закономерный в науке переход от фак-

¹ H. Birnbaum. Linguistic reconstruction its potentials and limitations in new perspective. Washington, 1977. Проблемы реконструкции были предметом широкого обсуждения на XII Международном конгрессе лингвистов в Вене. На пленарном заседании выступил с докладом А. Просдочими (Италия). A. L. Prosdocimi. Diacronia, ricostruzione: genera proxima e differentia specifica.

тографического описания накопленных языковых данных к теоретическому обобщению и осмыслению, систематизации и верификации этих данных. Такое смещение внимания исследователей с эмпирического описания на теоретическое и систематическое обобщение продиктовано логикой развития самой науки о языке, и оно отнюдь не означает отказа или призыва к отказу от сбора новых фактов. Введение новых фактов оказывает подчас революционизирующее влияние на наши представления о явлениях языковой действительности. Об этом свидетельствует, в частности, значение дешифровки древних текстов для компаративистики в целом².

С развитием теоретической мысли в компаративистике нашло широкое применение понятие «системной реконструкции» как проявление общей тенденции научного мышления XX века — перенос внимания исследователя с субстанции на структуру, на отношения. Переломными в этом смысле были 30-е годы XX века, принесшие серию фундаментальных открытий в науках естественного цикла, а в языкознании это привело к оформлению фонологии, ставшей на многие десятилетия наиболее продвинутым разделом современной лингвистики и смежных дисциплин и оказавшей мощное влияние на их дальнейшие успехи. Для развития сравнительно-исторического языкознания фактором первостепенной важности является зарождение именно в эти годы диахронической фонологии с ее основополагающим принципом: изменяется не отдельный звук, не отдельная фонема, а фонологическая система в целом, понимаемая как система фонологических оппозиций, т. е. отношений между фонемами.

Естественно, что антропофонические приемы решения сравнительно-исторических задач, столетие тому назад позволившие сменить поиски «буквенных переходов» поисками реальных «звуковых изменений», постепенно уступают место фонологическим. Можно согласиться с Э. А. Макаевым, который писал, что «неправомерным является определение фонологических процессов трансформации согласных физиологическими причинами. Компаративист ничего не может знать о характере уклада голосовой щели в общиндоевропейском не говоря уже о том, что данное объяснение не является собственно лингвистическим...»³. Вместе с тем было бы ошибкой игнорировать и новейшие данные об устройстве голосового аппарата наших предков, полученные в процессе совместных исследований антропологами и лингвистами, принципиально изменившие наши представления о происхождении звуковой речи человека⁴.

Однако компаративисты не имеют дела со столь отдаленной реконструкцией ранних этапов возникновения человеческой речи вообще. Их усилия направлены на реконструкцию отношений в реально существовавших или существующих языках между фонемами в различных «фонетических условиях», точнее, — в различных фонологических позициях. Таково современное переосмыс-

² В. П. Нерознак. Палеобалканские языки. М., 1978, стр. 3—6.

³ Э. А. Макаев. Общая теория сравнительно-исторического языкознания. М., 1978, стр. 164.

⁴ Ph. Lieberman, E. S. Crelin, D. H. Klatt. Phonetic Ability and Related Anatomy of the Newborn and Adult Human. American Anthropologist. Vol. 74, № 3, 1972.

ление фундаментального требования классической компаративистики «искать объяснение фонетических процессов в фонетическом окружении».

Ведущим способом решения этой задачи чаще всего остается дистрибуционный анализ. Образцы его применения при реконструкции праязыкового состояния мы находим в трудах Е. Куриловича, ср. его, ставший классическим, анализ отношения между гуттуральными. Являясь логическим развитием лучших традиций компаративистики конца прошлого века, данный прием позволяет более последовательно выявить «фонетическое окружение» каждой фонемы или ее аллофона. Последующее сопоставление двух фонем с их «фонетическим окружением» позволяет восстановить случаи «дополнительного распределения», нейтрализации противопоставлений, решить проблему фонологического статуса аллофонов и т. п.

Вместе с тем, одного дистрибутивного анализа при реконструкции фонологической системы недостаточно, ибо сам по себе он лежит в плане синтагматики. Парадигматический аспект реконструкции начинает проявляться уже в сопоставлении двух реконструируемых фонем с их «фонетическим окружением», что дает возможность реконструировать одну фонологическую оппозицию. Но и этого еще недостаточно. Необходимо выяснить отношение этой фонемы, этой оппозиции ко всем другим фонемам, оппозициям и корреляциям реконструируемой фонологической системы. Это означает, что, например, при решении проблемы гуттуральных нельзя ограничиваться анализом лишь блока гуттуральных, необходимо рассматривать реконструируемые оппозиции гуттуральных в корреляции всего блока шумных. Анализ всей системы отношений между фонемами целостного блока шумных дает возможность выбрать одно из равновероятных решений относительно характера двух рядов гуттуральных⁵. Вне такого подхода одинаковая вероятность имеющихся в науке решений обусловлена тем, что предпочтение лабиовелярного, как и палатального ряда гуттуральных основаны лишь на анализе блока гуттуральных, рассматриваемых вне фонологической системы шумных.

Тем самым система действительно становится арбитром, а системность — критерием при решении задач и оценки уже имеющихся реконструкций.

Иногда компаративист, ставящий перед собою задачу реконструировать фонологическую систему, ограничивается лишь парадигматическим планом, оставляя вне поля зрения синтагматику, «фонетическое окружение», в котором могли функционировать реконструируемые фонемы. И младограмматикам не было чуждо понятие «инвентарной системы», поскольку они ставили перед собой задачу реконструировать как можно полнее состав, инвентарь всех элементов праязыка⁶. «Но в том-то и дело, что реконструкция инвентаря элементов в отличие от отношений между ними, не дает представления о системе как таковой,» — справедливо отмечает С. Д. Кацнельсон⁷. Реконструкция системы — это

⁵ В. К. Журавлев. Реконструкция праславянской системы шумных согласных древнейшего синхронного состояния. Изв. ИБЕ, XIV, София, 1967.

⁶ Подробнее о становлении младограмматической концепции см. К. R. Jankowsky. The Neogrammarians. The Hague—Paris, 1972, стр. 124 и след.

⁷ С. Д. Кацнельсон. Сравнительная акцентология германских языков. М., 1966, стр. 7.

реконструкция прежде всего отношений между элементами ее составляющими. В фонологии воссоздание отношений осуществляется путем анализа противопоставлений и условий снятия этих противопоставлений, анализ оппозиций, корреляций и нейтрализаций. Такой анализ реконструируемой системы от оппозиции к оппозиции и корреляции, от корреляции к блоку и системе в целом позволяет разглядеть внутреннюю взаимосвязь между реконструируемыми фонемами, увидеть всю систему в целом. Так, уже упомянутый коррелятивный анализ системы праязыковых шумных позволил выяснить внутреннюю взаимосвязь особой трактовки фрикативной фонемы -s- в тех индоевропейских языках и диалектах, где проходила сатемовая палатализация гуттуральных.

Методы системной реконструкции, наиболее детально разрабатываемые в фонологии, экстраполируются и на другие ярусы. При этом в морфонологии и акцентологии может быть даже ярче, чем в фонологии ощущается различие дистрибуционного и парадигматического подходов. Европейская лингвистическая традиция ориентируется в первую очередь на парадигматику, акцентные парадигмы, а затем на дистрибуцию парадигм. В центре внимания американских исследователей находится дистрибуция абстрактной основы и флексии. Такой подход к проблемам реконструкции в значительной степени смыкается с генеративистским направлением, широко культивируемым в американской лингвистике.

Приемы системной реконструкции словарного состава праязыка интенсивно разрабатываются советскими славистами⁸. При этом требование системной реконструкции предъявляется не только к языковой системе в строгом понимании этого слова, т. е. к исконной лексике, но и к «экстрасистеме», заимствованиям и ономастике. Применение такого подхода мы находим в работах О. Н. Трубачева, посвященных анализу этнонимии⁹. Фронтальное сопоставление славянских этнонимов как «системно организованной совокупности» дало значительные и несколько неожиданные результаты, позволившие уточнить представление о праславянском языке в целом.

Второй характерной чертой современной компаративистики, теснейшим образом связанной с первой, является смещение интереса с внешней реконструкции на реконструкцию внутреннюю. Принципиально это две стороны одного и того же сравнительно-исторического метода, суть которого заключается в сравнении родственных морфем, но в первом случае — между разными языками заведомо родственными, а во втором — внутри одного и того же языка в разных вариантах одной и той же морфемы. Например, дифтонгическое происхождение праславянского ё (Ъ) можно установить как на основании внешнего (ЦЪНА, русск. цена, лит. káina), так и внутреннего (ПЪТИ, русск. петь — пою) сравнения. Поэтому едва ли правомерно их терминологическое противопоставление (реконструкция сравнительная и внутренняя реконструкция, сравнительный метод и метод внутренней реконструкции и т. п.). Различие между ними

⁸ Н. И. Толстой. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава, I. ВЯ, 1963, ; II. ВЯ, 1966, 5.

⁹ О. Н. Трубачев. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян. ВЯ, 1974, 6, стр. 54.

заключается в том, что внутренняя реконструкция ориентируется на анализ регулярного и частотного, систематически повторяющегося, а внешняя — на нерегулярное и изолированное. Первая опирается на широкие парадигматические ряды, а вторая — на «остаточные явления», дисперсные ряды, малые парадигмы и разного рода аномалии¹⁰. Но и в первом и во втором случае на основании анализа различий между фиксируемыми морфемами реконструируется единый, признаваемый за исходный, архетип.

Именно представление о системном устройстве языка, в котором все изменения должны быть так или иначе мотивированы, дает возможность с помощью метода внутренней реконструкции все немотивированное, аномальное трактовать как наследие предшествующих состояний системы, в которой они были мотивированными. Связь интенсивного развития внутренней реконструкции с системной реконструкцией обусловлена также и общенаучным сдвигом концепции причинности как внешней силы к понятию взаимодействия как внутренней причины изменения состояния и свойств системы.

Считается, что метод внутренней реконструкции восходит к известному „Мемуару о первоначальной системе гласных” Ф. де Соссюра. В дальнейшем в этой области много сделал Е. Курилович¹¹, со своих первых работ разрабатывавший и успешно применявший этот метод. Внутрilingвистической предпосылкой развития метода внутренней реконструкции был метод относительной хронологии, зародившийся на предшествующем этапе развития компаративистики как способ упорядочения данных внешней реконструкции в рамках единой системы праязыка. Метод относительной хронологии, как предпосылка системной и внутренней реконструкции непосредственно вытекал из основного постулата младограмматиков: фонетический процесс последовательно совершается в строго определенных фонетических условиях в данном языке или диалекте, на строго определенном этапе его развития. Это и давало возможность устанавливать хронологическую последовательность процессов относительно друг друга в данном языке и его диалектах. Классическими в этой области можно считать ранние работы Н. С. Трубецкого¹², написанные им в дофонологический период его творчества. Метод относительной хронологии опирается на исключение противоречивых фонетических законов из одной и той же языковой системы на определенном этапе его развития. Тем самым вольно или невольно данная языковая система на данном «синхронном срезе» выдвигалась в центр

¹⁰ О различиях между «сравнительной» и внешней реконструкцией более подробно см.: Э. А. Макаев. Указ. соч., стр. 91. Проводится также различие между реконструкцией отношений — системной реконструкцией и реконструкцией «материальной стороны» — материальной реконструкцией. См.: Г. Б. Джаукян. Общее и армянское языкознание. Ереван, 1978, стр. 52—53.

¹¹ Е. Курилович. О методах внутренней реконструкции. Новое в лингвистике, 4. М., 1965.

¹² N. S. Trubekoy. Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun, RES, 2, 1922. Не меньший методологический интерес представляет и его статья Über die Entstehung der gemeinwestslavischen Eigentümlichkeiten auf dem Gebiete des Konsonantismus. ZfSIPh, 1930, 7.

знимания исследователя. Дальнейшее развитие этой тенденции и приводит к усилению объяснительной силы внутренней системной реконструкции.

Современная внутренняя реконструкция ставит своей целью восстановление древнейшего состояния на основании анализа генетически тождественных или схожих фактов, с одной стороны, и функционально одинаковых фактов, с другой. Такова в настоящее время трактовка классического требования младограмматиков — работать с фактами, генетическое тождество которых предварительно установлено как в плане формальном (материальном), так и семантически (в плане функциональном). Современная трактовка функционального тождества более широка, она открывает путь к преодолению жесткой привязанности младограмматиков к морфеме, расширяет возможности этимологических исследований. На смену «корневой этимологии» и «сравнению слов», сопоставлению корней и аффиксов пришла методика цельнолексемного анализа (О. Н. Трубачев)¹³, основанная на сопоставлении лексем и словообразовательных моделей. Широкое применение метод внутренней реконструкции находит и в сравнительно-историческом синтаксисе (М. Лейман, В. Амбразас и др.) и в семантике (семантическая реконструкция Э. Бенвениста, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова).

Метод внутренней реконструкции, разработанный наиболее детально в фонологии, был успешно перенесен на морфологию, в первую очередь благодаря работам Э. Бенвениста о структуре индоевропейского корня, а также на лексику. В современном языкознании, пожалуй, наиболее последовательно применяет метод внутренней реконструкции праязыкового лексического фонда О.Н. Трубачев. Практическое применение его осуществляется при составлении сектором этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР «Этимологического словаря славянских языков». Фронтальный анализ возможных праславянизмов в каждом отдельном славянском языке с последующим наложением с целью восстановления праславянского лексического фонда дает возможность выявить не только общую праязыковую лексику, но и диалектизмы в праязыке¹⁴.

Аналогичная задача для фонологии лишь поставлена: желательна установить относительную хронологию по данным внутренней реконструкции для каждого отдельного славянского языка с последующим наложением всех полученных данных на праязыковую плоскость с ее пространственно-временными осями ординат¹⁵.

Приемы внутренней реконструкции имеют универсальную объяснительную силу не только для каждого отдельно взятого уровня языковой системы (фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики). На основании данных внутренней

¹³ О. Н. Трубачев. К вопросу о реконструкции различных систем лексики. «Лексикографический сборник», вып. 5. М., 1963; Его же. Этимологические исследования и лексическая семантика. «Принципы и методы семантических исследований». М., 1976, стр. 147—179.

¹⁴ О. Н. Трубачев. Этимологический словарь славянских языков и праславянский словарь. Этимология 1976. М., 1978.

¹⁵ H. Birnbaum. O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej. «American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists». Hague, Mouton, 1973. стр. 47

реконструкции в современной лингвистике начинают последовательно реконструировать праязыковой текст, «подъязыки» юридического права, культовые языки и наддиалектные койны¹⁶. Успешно разрабатываются в советской науке приемы внутренней реконструкции духовной культуры на материале славянских языков¹⁷. Наконец, широкое применение находит внутренняя реконструкция при решении фундаментальных проблем первобытной истории¹⁸.

Третьей характерной чертой современной компаративистики является небывалое увеличение удельного веса типологии в сравнительно-исторических исследованиях. Элементы типологии так или иначе присутствовали уже на заре сравнительно-исторического языкознания, в частности у Ф. Боппа в его теории происхождения грамматических формантов из местоимений. Позже однако, особенно в зарубежной лингвистике типологические исследования, охватывавшие главным образом лишь морфологию, противопоставлялись исследованиям сравнительно-историческим. Линией водораздела служило генетическое родство языков, в соответствии с которой родственные языки считались предметом компаративистики, а неродственные — типологических исследований.

Но вот первые же опыты перенесения внимания исследователя с субстанции на отношения, на структуру позволили реконструировать в праязыке такие явления, которые не были зафиксированы в родственных языках, ни в живых, ни в мертвых. В принципе такая ситуация вполне вероятна. Можно допустить, что все языки-потомки утратили некоторые черты языка-предка. Однако классический сравнительно-исторический метод с самого начала налагал запрет на реконструкцию того, что не зафиксировано в родственных языках.

В конце 30-х годов нашего столетия Р. О. Якобсон, анализируя отношения между гласными и стоящими перед ними согласными в древнерусском языке, реконструировал мягкостную корреляцию слогов в праславянском¹⁹. Такого явления нет ни в живых славянских, ни в других индоевропейских языках. Для доказательства вероятности такой реконструкции понадобился выход за рамки материала родственных языков и был привлечен материал языков неродственных, где такое явление имеет место. Обнаружилось, что в некоторых языках постулируемого Р. О. Якобсоном Евразийского языкового союза²⁰ (куда он включил, помимо индоевропейских, также и языки других семей) сходное явление широко распространено в большинстве тюркских, финно-угорских, тунгу-

¹⁶ В. В. Иванов, В. Н. Топоров. О языке древнего славянского права. «Славянское языкознание». VIII МСС. М., 1978.

¹⁷ Н. И. Толстой, С. М. Толстая. К реконструкции духовной культуры. Там же.

¹⁸ В. Р. Кабо. Теоретические проблемы реконструкции первобытности. В кн.: Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. М., 1978, стр. 61—63. Здесь в частности отмечается участие исторической лингвистики наряду с историческими дисциплинами (археология, этнография, антропология) в комплексной реконструкции истории первобытного общества.

¹⁹ R. Jakobson. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, TCLP, 2, Prague, 1929 (SW, I, 1962).

²⁰ Мысейчасне обсуждаем спорности столь широко понимаемого Р. Якобсоном языкового союза, определяемого иногда как «экстенсивный языковой союз». (Х Бирнбаум) в отличие от интенсивного балканского языкового союза.

со-маньчжурских, монгольских и др. языков. В них также отмечено Р. Якобсоном явление сближения тембра смежных звуков, палатальная гармония.

Строго генетический подход с тех пор постепенно стал уступать место методу, который можно определить как генетико-типологический, в котором реконструкция стала включать в себя анализ материала языков не только генетически родственных, но и языков заведомо неродственных. Значительные результаты в области реконструкции праиндоевропейского консонантизма на основании данных типологии с привлечением данных кавказских, семитских и других языков получены советскими лингвистами²¹. При этом собственно типологические исследования вышли за рамки морфологии, охватив все уровни языковой структуры. Это еще больше повысило объяснительную силу выводов типологии при верификации реконструируемого состояния. В рамках типологических исследований складывается лингвистика универсалий с задачей поиска наиболее общих структурных законов. Разграничение полных и неполных универсалий привело к выдвиганию понятия фреквенталий²² и индивидуалий. Естественно на современном этапе развития нашей науки основой типологии может быть только система, отношения, типология систем, а не перечень элементов. «В типологических исследованиях объектом сопоставления следует брать не сами единицы, а те отношения, которые существуют между единицами разных уровней и подуровней языков»²³.

Развитие типологии в таком случае следует считать своего рода следствием первого постулата, характеризующего современную компаративистику и состояние современного научного мышления в целом. Более того, эта третья характерная черта связана непосредственно и с предшествующей чертой. Перенесение внимания в компаративистике с реконструкции внешней на внутреннюю как бы ослабило удельный вес внешней. Вместе с тем расширение «внешнего» материала за счет привлечения фактов неродственных языков определяет современную специфику внешней реконструкции как важнейшего компонента генетико-типологического характера современной компаративистики. Этот характер подтверждается и тем фактом, что типологические исследования, начатые на материале неродственных языков, уже в 30-е годы распространили и на материал родственных языков. Как «внешняя», так и «внутренняя» типология имеют большое значение для теории и практики современной реконструкции²⁴.

Типологические критерии стали важнейшими аргументами при выборе одного из нескольких вероятных решений задач реконструкции: проблема двух или трех рядов гуттуральных в праиндоевропейском, двух или одного ряда придыхательных и т. п. Так, в свое время О. Семереньи (1964) отверг реконструированную Е. Куриловичем (1961) систему праиндоевропейского вокализма на том

²¹ Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965.

²² Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.

²³ В. М. Солнцев. Установление подобия языков как метод типологического исследования. «Лингвистическая типология и восточные языки». М., 1965. Его же. Типология и тип языка. ВЯ, 1978, 2.

²⁴ Укажем на доклады В. В. Иванова, В. М. Чекмана, И. Г. Меликишвили, А. М. Щербака на конференции «Проблемы реконструкции», М., 1978.

основании, что наличие оппозиций e:i, o:i, e:o типологически немислимо без фонемы а. Выводы «внешней» типологии, оперирующей данными неродственных языков, используются в современном языкознании весьма продуктивно²⁵.

«Внутренняя типология», основанная на анализе типов отношений внутри родственных языков, с целью реконструкции используется редко. А между тем, именно она для реконструкции прасостояния имеет столь же важное значение, как и внутренняя реконструкция по сравнению с внешней. Однако историко-типологические исследования группы родственных языков только начинаются и пока не ставят перед собой задачу реконструкции прасостояния. Впрочем в самое последнее время появилось несколько работ советских ученых, в которых на материале германских и славянских языков осуществляется разработка метода «внутренней типологии»²⁶.

В качестве показателя перспективности «внутренней типологии» для реконструкции можно сослаться на опыт реконструкции отношений рефлексов исчезнувших во всех родственных языках элементов. Исследование отношений рефлексов редуцированных в славянских языках показало²⁷, что все они подводятся под четыре основных типа отношений, хронологическая иерархия между которыми легко поддается восстановлению. Анализ соотношения установленных типов на временной и пространственных осях, с одной стороны, и внутри фонологической системы каждого славянского языка, с другой, позволили реконструировать исходное состояние, динамику и механизм не только падения редуцированных, но и саму смену отношений, трансформацию установленных типов.

Четвертой важнейшей особенностью современной компаративистики мы называем наметившийся переход от реконструкции статической к реконструкции динамической. На основе анализа состояния современной компаративистики задачу такого перехода недавно выдвинул Э. А. Макаев, который пишет: «...мы должны приложить все усилия к тому, чтобы статичная реконструкция уступила место динамической...»²⁸. Новая, динамическая реконструкция, в свою очередь должна повлечь за собой новое осмысление исходного языкового состояния, праязыка, который, не переставая быть научной конструкцией и никогда не будучи в состоянии приобрести статус естественного языка, будет разделен временными и пространственными параметрами.

Призыв ввести временные параметры в сравнительно-историческое языкознание звучит несколько парадоксально. Собственно фактор времени вводится тогда, когда возникает потребность и возможность раскрыть сущность процессов изменений и превращений. Идея эволюции развития, изменчивости на временной оси — величайшее достижение научного мышления XIX века. Тогда-то

²⁵ R. Jakobson. Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics. "Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists". Oslo, 1958, стр. 17—35.

²⁶ Историко-типологическая морфология германских языков. Т. 1—3. М., 1977—1978. В. К. Журавлев. Die Dynamik baltoslavischer morphologischer Oppositionen. Indogermanische Forschungen. 82, 1972.

²⁷ В. К. Журавлев. Правило Гавлика и механизм падения славянских редуцированных. ВЯ, 1977, 6.

²⁸ Э. А. Макаев. Указ. соч., стр. 203.

и зародилось и оформилось в самостоятельную научную дисциплину языкознание, как наука, изучающая законы развития языка, с особым методом, специально разработанным для этой цели. Младограмматикам казалось, что они изучают историю явлений, хотя фактически они лишь пытались установить связь начального и конечного состояний, не раскрывая того, что происходит между состояниями. Реконструкция, основанная на внешнем сравнении, процедура установления архетипов была принципиально статичной: все проецировалось на плоскость праязыка эпохи распада данной группы или даже подгруппы языков.

В сущности исследование не шло дальше реконструкции одного «синхронного среза». Следуя схеме родословного древа, для проникновения в более отдаленную эпоху, обращались к эпохе распада прапраязыка группы родственных языков, связанных узами более дальнего родства и т. д. Даже исследование истории языка от праязыкового состояния до наших дней фактически сводилось к сопоставлению синхронных срезов по упрощенной схеме: праязыковое состояние — эпоха первой письменной фиксации — современное состояние. Все остальное собственно реальное развитие, действительная история того или иного языкового явления между синхронными срезами оставалось лишь домысливать. Оно в значительной степени опиралось на интуицию исследователя, ограничиваемую лишь отчасти наличием памятников письменности для «исторического» периода развития языка. Такова суть парадокса непрерывности, подмеченного еще в античности (апория летящей стрелы Зенона). Такова сущность дистанции между дискретным и непрерывным, между бытием и становлением.

В лингвистике этот парадокс непрерывности нашел выражение в известной антиномии синхронии и диахронии Ф. де Соссюра. Представителям пражской лингвистической школы казалось, что они сняли антиномию де Соссюра, сформулировав положение: «изменяется не отдельный элемент языка, а система в целом». Однако эта общая концепция языковых изменений свелась к концепции субституции одной системы другой системой (А. В. де Гроот), а задача историков языка — к описанию моделей замещения одних структур другими (Г. Хёнигсвалд). Широкое распространение в историческом языкознании получил так называемый анализ по синхронным срезам. Таким образом антиномия Соссюра не только не была снята, а наоборот, оказалась гипертрофированной.

Даже один из основоположников диахронической фонологии А. Мартине утверждал, что «структурные методы применимы лишь в статической лингвистике, поскольку структура существует лишь в синхронии»²⁹. В конечном счете анализ по синхронным срезам остается в сфере синхронного статического языкознания, причины же и механизм изменений, происходящих между срезами, как и во времена младограмматиков остается домысливать. Введение понятия «диахроническое соответствие»³⁰ как способа анализа фонетических изменений также оставляет анализ «различий между несколькими хронологическими состояниями языка» в рамках синхронной лингвистики, может быть «облегчая» лишь процедуру описания.

²⁹ А. Мартине. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960, стр. 27—28.

³⁰ Н. Andersen. Diphthongization. Language, 48, 1, стр. 11—12.

Аналогичным образом проявляется в компаративистике и другой парадокс континуума: праязык, реконструируемый традиционным сравнительно-историческим методом, рисуется бездиалектным, ибо различие между отдельными формами родственных языков должно быть возведено в любом случае к единому архетипу. В действительности же любой язык имеет, пусть минимальные, диалектные различия. В последнее время все чаще раздаются призывы пересмотреть представления о праязыке в связи с современными данными ареальной лингвистики. Так, в частности, работы О. Н. Трубачева убедительно доказывают ошибочность постулата об изначальном единстве праславянского языка со вторичностью его диалектной дифференциации: «праславянский лексический диалектизм в принципе может быть старше самого праславянского языка»³¹. И далее, его же словами: «Первоначальная Славия была не языковым монолитом, а его противоположностью»³².

Таким образом, к реконструируемой языковой системе праязыка современная наука предъявляет требование динамизма, т. е. она должна быть развивающейся на оси времени и пространства. В таком случае и праязык должен мыслиться как пространственно-временной континуум родственных диалектов, связанных между собою не только относительной общностью исходного материала, но и относительной общностью исходных импульсов, общностью действующих в нем тенденций развития³³. Динамизм такой модели праязыка проявляется в конвергентно-дивергентном развитии путем включения в эту изоглоссную область одних диалектов и отпадения от нее других тенденции распространения инноваций на всю диалектную область из эпицентра инноваций, а также путем относительного совпадения изоглосс и изохрон.

Современные методы компаративистики в принципе дают возможность реконструировать праязыковую систему не только для праязыкового состояния эпохи распада, но и судить о том, как могла сложиться такая система до этой эпохи и как она развивалась на оси времени и пространства отдельно в каждом из представителей родственных языков. Полувековое развитие диахронической фонологии уже позволяет реконструировать динамическую систему фонологического яруса языка, а не только адекватно описывать полученные ранее другими исследователями результаты.

Еще одна особенность современного состояния компаративистики заключается в весьма значительном расширении хронологических рамок праязыка. Кардинально изменилось направление исследовательских интересов к хронологическому аспекту реконструкции праязыка. Если раньше в центре внимания находилась судьба праязыкового наследия в родственных языках, развитие языка от праязыкового состояния эпохи распада до наших дней, то на современном

³¹ О. Н. Трубачев. Указ. соч., стр. 10.

³² О. Н. Трубачев. Ранние славянские этнонимы... стр. 66.

³³ Вопрос о праязыке трактуется в индоевропеистике неоднозначно. Ср., например, высказывание В. П. Шмида о том, что так называемый и-е язык-основа «является лишь инвентарем абстрактных формул, с которым сопоставляются соответствия отдельных и.-е. языков». W. P. Schmid. Indogermanistische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte. Abh. der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, N I, 1978, стр. 4.

этапе мы имеем дело с реконструкциями, идущими от праязыкового состояния вглубь веков, с анализом того, как сложилась праязыковая система.

С точки зрения классической компаративистики с ее моделью родословного древа, чем дальше проникновение в глубь веков, тем меньше должны быть диалектные различия. Открытие и дешифровка древних текстов на языках, которые после их истолкования были определены как индоевропейские, показало несостоятельность таких взглядов. Дешифровка древних хеттских, лувийских, тохарских и крито-микенских текстов, датирующихся эпохой, наиболее близкой к эпохе предполагавшейся языковой общности, привела к неожиданным результатам. Вместо искомой близости этих языков к реконструируемому праязыковому состоянию и между собой, обнаружилась полная самостоятельность языков, к тому же разделявшихся на диалектные ветви. То обстоятельство, что некоторые из этих языков (например, хетто-лувийские) оказались по своей структуре намного дальше от реконструируемого до того праязыка, чем уже известные классические индоевропейские языки, усилило предположение об изначальной полидиалектности общеиндоевропейского языкового состояния. Это в свою очередь позволило намного глубже отодвинуть дату возникновения и становления индоевропейского праязыка.

Известно два пути восстановления древнейших этапов языкового состояния. И оба они сохраняют в равной мере свое значение. Первый из них, более традиционный способ, основан на внешней реконструкции и жестко ограничен эпохой распада. «Вглубь истории самого праязыка, несомненно имевшего за собою длительное прошлое, мы проникнуть вообще не можем... по той простой причине, что мы не знаем никакой другой велчины, с которой можно бы сопоставить и.-е. праязык, — не знаем другого праязыка, который вместе с ним образовался бы из общего более древнего источника», — писал в свое время ученик Ф. Ф. Фортунатова В. К. Поржезинский³⁴. Это положение полностью сохраняет свою силу и по сей день: «Пользуясь данными только тюркских языков, нельзя реально представить состояние тюркских языков глубже VII в. н. э.»³⁵ Отсюда вытекает необходимость поиска более отдаленных родственных связей. Этим были заложены и предпосылки урало-алтайской гипотезы, а в конечном счете и ностратической концепции, стремящейся обосновать отдаленное родство нескольких языковых семей. Хронологически ностратический праязык однако неизбежно сближается с датой возникновения человеческой речи вообще. В связи с этим встает новая проблема — правомерна ли экстраполяция наших представлений о языке, основанных преимущественно на изучении современных языков, на эпоху, граничащую со становлением и начальным периодом развития членораздельной человеческой речи. По некоторым современным данным со времени ее возникновения насчитывается не более 30—40 тысяч лет³⁶. Звучащая челове-

³⁴ В. К. Поржезинский. Сравнительная грамматика славянских языков. Вып. I. М., 1914, стр. 5.

³⁵ А. Н. Кононов. Современное тюркское языкознание в СССР. ВЯ, 1977, 3, стр. 23.

³⁶ Б. Ф. Поршнева. О начале человеческой истории. М., 1974, стр. 370. Ph. Lieberman. On the origins of language. New York, 1975, стр. 174. Э. Уайт и Д. М. Браун. Первые люди. Пер. с англ. М., 1978, стр. 95 и сл.

ческая речь относительно ненамного старше самостоятельной письменной истории языков Передней Азии и Египта (ок. 5 тысяч лет), индоевропейских (4 тысячи лет) и китайского языка (3 тысячи лет). Со времени же неолитической революции и связанным с ней демографическим взрывом прошло всего 10 тысяч лет. Тем самым реконструкция праязыкового состояния не может быть хронологически произвольной, она имеет жесткие временные пределы, воздвигнутые эволюцией человека и человеческого общества.

Другой способ внутренней реконструкции в принципе диахроничен и не связан со строго определенной хронологической плоскостью данной эпохи. Имея дело с отклонениями от системы данного синхронного состояния, этот способ анализирует следы и реликты следов предшествующих систем, предшествующих языковых состояний. Ведь даже самые отдаленные во времени языковые явления проявляются в реликтовых чертах, которые выступают в различной степени консервации или переразложения и затемнения этих черт. Степень системной и позиционной обусловленности языкового явления тем менее ощутима, чем отдаленнее во времени генезис этого явления. Ср. в русском языке чередования *несу* — *нес*, *день* — *дня*, но *тень* — *тени*; *видеть* — *кричать*; *пою* — *петь*, *вести* — *воз*. Если первое регулярно и полностью обусловлено позицией, то последние уже никак позиционно не объяснимы не только процессами в русском, но и в праславянском языке. Более того, оно восходит к явлениям, выходящим за рамки эпохи распада праиндоевропейского языка (или и.-е. праязыка). Тем самым внутренняя реконструкция делает возможным углубиться за пределы эпохи распада праязыка.

Одной из важнейших особенностей современной компаративистики является множественность возможных решений конкретных задач реконструкции. В свое время младограмматиков и постмладограмматиков поражала именно схожесть получаемых результатов. Так, в начале XX в. Э. Герман писал: «Необходимо поэтому заняться исследованием того, почему мы с помощью нашего метода реконструкции всегда приходим к одинаковому результату?»³⁷ Мы не ошибемся, если выскажем мнение, что именно эта характерная черта компаративистики стала важнейшим фактором превращения лингвистики в строгую научную дисциплину. Благодаря ей стало возможным целенаправленное собирание и обобщение огромного материала. Сейчас же нас не поражает прямо противоположная черта, присущая компаративистике, а именно множественность решений, многообразие результатов, неединственность реконструкций. Хотя все, как кажется, пользуются в общем одними и теми же методами исследования, теми же исходными фактами, наблюдается несхожесть получаемых результатов. По многим проблемам науки приходится иметь дело с несколькими равновероятными решениями, при этом число новых решений имеет тенденцию к возрастанию. В то же время вероятность совпадения с реальной действительностью каждого из них обратно пропорциональна их общему числу.

³⁷ E. Hermann. Über das Rekonstruieren, KZ, 41, 1907, стр. 11.

Вслед за Жень Чао Юнем³⁸ множественность решений нередко возводится в один из важнейших постулатов современного языкознания вообще. Оставляя в стороне субъективно-идеалистическую трактовку возможности нескольких решений на основании принципа «удобства описания», необходимо отметить, что реальная возможность различных решений объясняется прежде всего различием объема фактического материала.

Для процедуры внешней реконструкции результат зависит прежде всего от количества сравниваемых языков. Введение новых данных, полученных в результате дешифровки и истолкования индоевропейских языков Малой и Центральной Азии, палеобалканского ареала и некоторых других, в сравнительную грамматику индоевропейских языков с неизбежностью привело к изменению характера реконструируемого праиндоевропейского языка. К аналогичным результатам приводит и смена модели — эталона реконструированного праязыка. Так, например, реконструируемый праиндоевропейский язык получил иной вид в связи с процессом детронизации долго служившего таким эталоном санскрита.

Для процедуры внутренней реконструкции, как отметил Е. Курилович, сам выбор одного из родственных языков в качестве исходного материала этой реконструкции является фактором первостепенной важности. В сущности от этого зависит характер реконструируемого праязыка. Последующим необходимым этапом исследования должно стать наложение результатов внутренней реконструкции, полученных на материале всех, а не какого-либо одного из родственных языков, на единую праязыковую плоскость. Иначе может создаться впечатление простой замены санскрита ведическим, либо хеттским эталоном.

Несмотря на то, что и внешняя и внутренняя реконструкция составляют две стороны одного и того же метода, имеющего дело с материалом родственных элементов, охват объема фактического материала в обоих случаях не адекватен, что может обусловить различие решений. Так, исходя из данных внешней реконструкции в праиндоевропейском восстанавливается 7 падежей и одна звательная форма, тогда как по данным внутренней реконструкции представлены 3 падежа.

Противоречивой оказалась и устанавливаемая методом внешней и внутренней реконструкции хронология многих явлений. С точки зрения первой с непрерывной моделью родословного древа, явления, совпадающие в разных языках, относятся к периоду первоначальной общности, к праязыку, в то время как с позиций внутренней реконструкции эти же явления во многих случаях оказываются результатом позднего самостоятельного развития, параллельно сформировавшиеся в разных языках. Так, например, сатемовая палатализация, разделяющая всю индоевропейскую языковую область на две изоглосные зоны на основании приемов внешней реконструкции, считается одной из самых ранних диалектных черт праиндоевропейского языка, а на основании данных внутренней реконструкции — следствием параллельного развития в отдельных ветвях праиндоевропейского. В связи с такого рода противоречиями в установлении хронологии отдельных процессов противоречива и хронология обособления отдель-

³⁸ Yuen Ren Chao. The non-uniqueness of phonetic solutions of phonemic systems. *Readings in linguistics*, ed. by M. Joos, 1957.

ных праязыков. Например, временем обособления праславянского для одних (В. Георгиев) было начало II тысячелетия до н. э., а для других (З. Штибер) — это начало I тысячелетия н. э.

Преимуществом внутренней реконструкции можно назвать то, что с ее помощью может быть восстановлено такое явление, которое отсутствует во всех родственных языках и, будучи параллельно и независимо утраченным, не выделяется методом внешней реконструкции. В таком случае, как мы уже отмечали выше, необходимо обращение к внешней типологии.

В свое время оригинальный способ снятия противоречий между данными внутренней и внешней реконструкции предложил Э. Стёртевант. Он ввел два синхронных среза соотв. два индоевропейских праязыка: поздний, отвечающий внешней реконструкции К. Бругмана без ларингалов, и более ранний с ларингалами, реконструируемыми с помощью внутренней реконструкции тех же данных и подтвержденных Е. Куриловичем на материале хеттского языка. Вполне в духе классической компаративистики Э. Стёртевант рисует картину распада праиндохеттского на прахетто-лувийский с сохранением ларингалов и праиндоевропейский уже без ларингалов, следы которых все же наличествуют в поздних индоевропейских языках.

Неединственность решений может объясняться различием глубины реконструкции. При прочих равных условиях несколько равновероятных решений могут отражать различные этапы в развитии той же системы, либо диалектное различие праязыковой области, стертое последующими процессами конвергенции, интеграции праязыковых диалектов под влиянием действия общих тенденций развития. Так, сравнительная грамматика славянских языков предлагает реконструкцию нескольких систем вокализма для исходного праславянского состояния. И ни одной из них нельзя отдать предпочтения, все они могут развиваться в сторону славянского языкового типа, порождая с большей или меньшей легкостью известные фонетические процессы, составившие специфику славянских языков, обусловив их отличие от других индоевропейских языков и друг от друга. Они вполне могут отражать различие глубины реконструкции и различие тех родственных диалектов, которые входили в протославянскую изоглоссную область³⁹.

Говоря об использовании всех рассмотренных приемов в компаративистике, нельзя исключить возможные противоречия между результатами реконструкции, полученными с помощью внутренней и внешней процедуры, относительной хронологии и данными внешней типологии, универсалий и фреквенталий. Лишь на том основании, что пятичленная треугольная система вокализма встречается наиболее часто, нельзя делать вывод о малой вероятности дальнейшего преобразования такой системы в реконструируемом праязыке. Отсутствие того или иного явления в зафиксированных языках и диалектах еще не означает невозможности его реконструкции в прасостоянии. Одно время, при обсуждении количества рядов заднеязычных в праиндоевропейском с опорой на данные типологии, стали склоняться к мысли о невозможности в нем трех рядов

³⁹ В. К. Журавлев. К проблеме балто-славянских языковых отношений. «Baltistica», IV, 2, 1968, стр. 174.

гуттуральных. Позже однако все три ряда гуттуральных были обнаружены в одном из живых индоевропейских языков⁴⁰. Первостепенность данных типологии с ее прогностической способностью⁴¹ в сравнительно-исторических исследованиях были, очевидно, по-пионерски преувеличены, и до сих пор мы встречаем работы, в которых данные типологии ставятся выше внутренней реконструкции.

Наблюдающийся в современной компаративистике плюрализм решений делает необходимой разработку объективных критериев отбора одного из нескольких возможных решений. Эти критерии должны быть подчинены принципу иерархичности, сообразно цели реконструкции.

Если цель реконструкции видится не в восстановлении праязыка как такового, а в раскрытии внутренних закономерностей (тенденций) развития родственных языков⁴² или же в выяснении процессов дивергенции и конвергенции в историческом развитии отдельных языков, восходящих к одному источнику⁴³, то «развивающаяся, динамическая история праязыковой системы призвана объяснить те тенденции, те закономерности, которые обусловили специфику языков данной языковой семьи в их отличии от других родственных и неродственных языков, а также друг от друга»⁴⁴.

Иерархия критериев оценки реконструкции представляется нам следующей: первостепенность системной реконструкции по сравнению с элементарной и динамической по сравнению со статической. Именно потому, что целью реконструкции является выяснение закономерностей развития родственных языков, следует подчеркивать первостепенность исходных данных материала родственных языков по сравнению с фактами языков неродственных, первоочередность данных внутренней реконструкции по сравнению с данными внешней, данных внутренней типологии по сравнению с внешней, собственно сравнительно-исторических данных по сравнению с типологическими.

Исходя из этих же соображений, следует подчеркнуть, что неосознанно постулируемая повсеместно безграничность пределов лингвистического времени глубины реконструкции праязыка должна быть строго ограничена рамками целесообразности реконструкции. А это означает, что должна быть построена такая динамическая модель праязыковой системы, которая в своем развитии как бы сама собой порождает факты языковой действительности, имеющие отношение к данной группе языков.

⁴⁰ Д. И. Эдельман. К типологии индоевропейских гуттуральных. Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. XXXIII/3 1973, стр. 540—546.

⁴¹ Р. Якобсон. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание. «Новое в лингвистике», III. М., 1963, стр. 102.

⁴² В. М. Жирмунский. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М., 1974, стр. 3.

⁴³ Э. А. Макаев. Общая теория сравнительного языкознания, стр. 88.

⁴⁴ В. К. Журавлев. Современные проблемы реконструкции праязыка. «Проблемы языкознания». М., 1967, стр. 256.

Описание синтаксической структуры предложения с помощью систем
синтаксических групп. Лингвистическая интерпретация
(Продолжение)

А. В. ГЛАДКИЙ

§ 3. Сложноподчиненные предложения

В настоящем параграфе мы дадим более развернутый пример работы процедуры, описанной в § 1 — именно, покажем, как с помощью этой процедуры анализируются сложноподчиненные предложения.

В сложноподчиненном предложении придаточная часть всегда содержит специальное слово, служащее для присоединения ее к главной — союзную скрепу²⁵. В свою очередь главная часть во многих случаях (но не всегда) также содержит служебное слово, функцией которого является «привязывание» придаточной части; это слово мы будем называть соотносительным²⁶. Назовем коррелятором входящую в предложение пару «союзная скрепа, соотносительное слово» при наличии последнего, а при его отсутствии — просто союзную скрепу. Именно характером коррелятора определяется вид приписываемой сложноподчиненному предложению ССГ. Поэтому мы начнем с построения удобной для наших целей классификации корреляторов.

Прежде всего, корреляторы естественно классифицируются по двум независимым признакам — типу союзной скрепы и наличию/отсутствию соотносительного слова.

Союзные скрепы бывают двух типов — союзы и союзные слова. *Союз* не занимает в придаточной части никакой синтаксической позиции, а является оператором, действующим на «все остальное»; это «остальное» — придаточную часть без союза — мы называем основой придаточной части. Основа представляет собой «обычное» предложение, лишенное каких-либо признаков «придаточности» (но нередко эллиптическое). Напротив, союзное слово (как правило, это местоимение) является одним из членов придаточной части. В случае союза мы будем говорить о корреляторе типа *О*, в случае союзного слова — о корреляторе типа *Ч*. Например: *Холодно, потому что я не топил*; *Я знаю, что он уехал* (тип *О*); *Я нашел книгу, которую ты потерял*; *Я знаю, куда он уехал* (тип *Ч*).

²⁵ Правда, в одном случае (см. ниже, пункт Б3б) нам придется ввести в рассмотрение нулевую союзную скрепу.

²⁶ Термином «соотносительное слово» мы обозначаем и то, что названо так в книге [Грамматика 1970], и то, что названо там антецедентом.

По признаку наличия/отсутствия соотносительного слова мы будем различать корреляторы типа *Е*: соотносительное слово есть — и типа *Н*: соотносительного слова нет.

Корреляторы типа *Е* мы будем классифицировать еще по двум независимым признакам — значению и расположению соотносительного слова.

Значение соотносительного слова будет интересовать нас лишь в одном аспекте: является ли это слово «чисто соотносительным», т. е. выполняет только функции соотносительного слова (например, *тот, такой, так*) или несет дополнительную смысловую нагрузку — скажем, является квантором (как *всех* в предложении *Он знает всех, кто здесь живет*) или указывает на место действия по отношению к говорящему (как *здесь* в предложении *Здесь, где он всех знает, ему легче живется*). В первом случае мы говорим о корреляторе типа *П* (простое соотносительное слово), во втором — типа *Д* (соотносительное слово с дополнительным значением).

По расположению соотносительного слова мы различаем корреляторы типа *К*, в которых соотносительное слово расположено контактно с придаточной частью, и типа *У*, в которых оно удалено от придаточной части, т. е. отделено от нее какими-то словами (которые могут подчинять соотносительное слово или подчиняться ему).

Комбинируя всевозможные значения перечисленных признаков, получаем 10 типов корреляторов: *ОЕПК, ОЕПУ, ОЕДК, ОЕДУ, ОН, ЧЕПК, ЧЕПУ, ЧЕДК, ЧЕДУ, ЧН*. Однако типы *ОЕДК* и *ОЕДУ* не реализуются: соотносительные слова с дополнительным значением невозможны в корреляторах типа *О*, поскольку дополнительное значение соотносительного слова всегда соотносено с некоторым синтаксическим местом в придаточной части, заполненным переменной (примеры см. ниже, пункты А1б—А1д); роль этой переменной как раз и играет местоимение — союзное слово, в то время как союз такую роль играть не может. Остальные 8 типов, как мы увидим далее, имеют реализации.

Теперь мы можем дать классификацию типов ССГ сложноподчиненных предложений — или, как мы будем говорить, их типов структуры — и указать, как тип структуры зависит от типа коррелятора.

Типы структуры сложноподчиненных предложений классифицируются прежде всего по следующим двум независимым признакам: по строению придаточной части и по способу «подвешивания» придаточной части к главной.

Возможны два типа строения придаточной части, очевидным образом связанные с типом союзной скрепы: если эта скрепа есть союзное слово, — т. е. при корреляторе типа *Ч* — она вступает в подчинительные связи с другими членами придаточной части; если она есть союз, — т. е. при корреляторе типа *О* — то основа придаточной части выделяется в СГ (§ 2, пункт В3), а между основой и союзом нет подчинительной связи. (Вся придаточная часть в целом в обоих случаях выделяется в СГ — § 2, пункт Б2). В первом случае мы будем говорить о структуре типа *ч*, во втором — типа *о*.

Способ «подвешивания» придаточной части характеризуется двумя независимыми признаками — видом «хозяина» придаточной части, т. е. той СГ, к которой она «подвешивается», и тем, выделяется ли в СГ словосочетание,

состоящее из придаточной части и ее «хозяина». У первого из этих признаков мы будем различать три значения: «хозяином» может быть либо (I) соотносительное слово, либо (II) словосочетание, содержащее соотносительное слово, либо (III) слово, отличное от соотносительного, или словосочетание, не содержащее соотносительного слова. Мы будем говорить в этих случаях о структурах типов I, II и III соответственно²⁷. Кроме того, будем говорить о структуре типа α , если придаточная часть вместе с ее «хозяином» выделяется в СГ, и типа β в противном случае.

Мы имеем, таким образом, три независимых признака, из которых первый и третий принимают по два значения и второй — три, что дает 12 различных комбинаций, из которых, как мы потом увидим, реализуется 10.

Опишем теперь зависимость между типом коррелятора и типом структуры. Как уже было сказано, корреляторам типов *Ч* и *О* отвечают структуры типов *ч* и *о* соответственно. Что же касается связи между типом коррелятора и способом «подвешивания» придаточной части, то прежде всего следует сказать, что соотносительное слово всегда «притягивает» к себе придаточную часть, либо подчиняя ее непосредственно, либо указывая в главной части то слово или словосочетание, к которому она относится. Переходя к более подробному рассмотрению, займемся сначала случаем простого соотносительного слова. Такое слово может быть полностью асемантично, как *то*₂²⁸, или иметь некоторое значение, как *туда*, *оттуда*; но ни в том, ни в другом случае оно не занимает в предложении самостоятельного «семантического места» (так же как и синтаксического) и может быть описано семантически только как оператор. При контактном расположении соотносительного слова этот оператор действует на придаточную часть, являясь при нем своеобразным «грамматическим показателем». Например, в предложении *Он точно такой же, каким был раньше* составное соотносительное слово *точно такой же* служит «показателем определенности» придаточной части и одновременно показателем именительного падежа²⁹; в предложении *Они пришли оттуда, куда мы ходили вчера* слово *оттуда* — также показатель падежа («аблатива») (ср. предложение *Они пришли оттуда*, где *оттуда* — слово-заместитель, занимающее позицию обстоятельства места; в этом предложении между *пришли* и *оттуда* имеется семантическое отношение «быть местом, откуда», в то время как в *Они пришли оттуда, куда мы ходили вчера* это отношение имеется только между *пришли* и *оттуда, куда мы ходили вчера*, а слово *оттуда* само по себе ни в каких семантических отношениях не участвует).

Таким образом, словосочетание, состоящее из придаточного предложения и контактно расположенного простого соотносительного слова, является опера-

²⁷ Заметим, что при типах II и III придаточная часть может, в частности, подчиняться всей главной части в целом.

²⁸ Различие между *то*₁ и *то*₂ можно проиллюстрировать следующими примерами: *То, что я принял за облако, оказалось густым туманом (то*₁*)*; *То, что я принял туман за облако, всех рассмешило (то*₂*)*.

²⁹ Рассматривать изменение предложений по падежам впервые предложил К. И. Бабицкий [Бабицкий 1967].

торным контекстом и, следовательно, по пункту Г9 предыдущего параграфа должно выделяться в СГ. Ясно также, что в этом случае соотносительное слово непосредственно подчиняет придаточную часть. Итак, коррелятору типа ЕПК отвечает структура типа Iα.

Удаленно расположенное простое соотносительное слово также представляет собой оператор, но действует он на то слово или словосочетание, которое отделяет его от придаточной части; это слово или словосочетание благодаря действию оператора становится способным подчинять придаточную часть и нередко приобретает также дополнительный смысловой оттенок. Словосочетание, состоящее из соотносительного слова и того, что отделяет его от придаточной части, выделяется в СГ как операторный контекст, и эта СГ подчиняет придаточную часть. Например: *Пришли те люди, которых мы ждали; Он так говорит (говорит так тихо), что трудно что-либо разобрать; Он написал такое письмо, что, ...; Пришли те из знакомых, которые...; Он не такой сегодня, как вчера.* При этом «большое» словосочетание, состоящее из придаточной части и ее «хозяина», по критерию Г также должно выделяться в СГ, поскольку между придаточной частью и «хозяином» нет семантического отношения (например, в предложении *Пришли те люди, которых мы ждали* имеется семантическое отношение не между *те люди* и *которых мы ждали*, а между *люди* и *те, ... которых мы ждали*). Поэтому коррелятору типа ЕПУ соответствует структура типа IIα.

Для соотносительных слов с дополнительным значением зависимость структуры от контактности/удаленности такова же, как для простых: при контактном расположении структура имеет тип I, при удаленном — тип II. (При удаленном расположении словосочетание, состоящее из соотносительного слова и того, что отделяет его от придаточной части, выделяется в СГ, т. к. в этом случае при наличии у соотносительного слова дополнительного значения его «хозяин» всегда оказывается между ним и придаточной частью — например: *Он все сказал, что хотел* — и непосредственное подчинение придаточной части соотносительному слову оказывается невозможным из-за нарушения проективности — ср. § 2, пункты ГЗ—6.) Что же касается выделения в СГ «большого» словосочетания, то в этом соотносительные слова с дополнительным значением допускают большее разнообразие. Некоторые из этих слов являются словами-заместителями; вводимая таким словом придаточная часть находится с ним в некотором семантическом отношении, а именно таком же самом, какое имеется между «большим» словосочетанием и его «хозяином». Это последнее отношение оказывается тогда семантически разложимым. Например, для предложения *Здесь, где он родился и вырос, все ее интересовало* соответствующее Q будет иметь вид «Место, где кого-то нечто интересовало — здесь, где он родился и вырос», и это Q синонимично предложению «Место, где кого-то нечто интересовало — здесь, и место, где он родился и вырос — здесь». Поэтому такие словосочетания не выделяются в СГ, и структура имеет тип β.

Соотносительное слово может иметь также дополнительное значение квантора. Если при этом придаточная часть подчинена ему непосредственно, то оно должно, очевидно, вместе с придаточной частью образовывать СГ (§ 2, пункт

Г9), например: *Пришли все, кто был приглашен*. Но если квантор не относится непосредственно к придаточной части и она подчинена содержащему квантор словосочетанию, то это словосочетание вместе с придаточной частью также должно по критерию Г выделяться в СГ. Действительно, в этом случае семантическое отношение между придаточной частью и подчиняющим ее словосочетанием можно охарактеризовать как отношение ограничения; например, для предложения *Она учила своих девочек всему хорошему, что знала сама* факт наличия этого отношения можно выразить предложением «Все хорошее было ограничено тем, что она знала сама», для предложения *Он все сказал, что хотел* — предложением «Все сказанное было ограничено тем, что он хотел». Но предложения «То, чему некто кого-то учил — все хорошее, что она знала сама» и «Тот, кто все сказал, что хотел — он» не синонимичны предложениям «То, чему некто кого-то учил — все хорошее, и все хорошее ограничено тем, что она знала сама» и «Тот, кто все сказал — он, и все сказанное ограничено тем, что он хотел» соответственно. Таким образом, соотносительное слово с дополнительным значением квантора дает структуру типа α .

Итак, корреляторы типа *ЕДК* допускают структуры типов $I\alpha$ и $I\beta$, корреляторы типа *ЕДУ* — структуры типов $II\alpha$ и $II\beta$.

Замечание. Соотносительные слова *там, туда, оттуда* омонимичны: обычно они являются простыми, но иногда могут получать дополнительное значение слов-заместителей. Подробнее об этом см. ниже, пункт А1г.

Наконец, при отсутствии соотносительного слова возможны структуры типов $III\alpha$ и $III\beta$. Тип $III\alpha$ получается, в частности, тогда, когда придаточная часть подчинена всей главной части в целом, т. е. в этом случае словосочетание, состоящее из придаточной части и ее «хозяина», есть все предложение. В случае, когда «хозяин» отличен от всей главной части в целом, нормой является, как показывает разбор конкретных видов сложноподчиненных предложений (см. ниже), тип $III\beta$, хотя и тип $III\alpha$ возможен при особых условиях (см. ниже пример [159]).

Зависимость типа структуры от типа коррелятора можно теперь изобразить с помощью таблицы:

	Е				Н
	П		Д		
	К	У	К	У	
Ч	$\forall\alpha$	$\forall II\alpha$	$\forall I\alpha$ $\forall I\beta$	$\forall II\alpha$ $\forall II\beta$	$\forall III\alpha$ $\forall III\beta$
О	$\circ\alpha$	$\circ II\alpha$	—	—	$\circ III\alpha$ $\circ III\beta$

Два из двенадцати возможных арготипов структуры — $oI\beta$ и $o\Pi\beta$ — в таблице отсутствуют, поскольку они могли бы соответствовать только корреляторам типов *ОЕДК* и *ОЕДУ*, которые, как было замечено выше, невозможны. Остальные 10 типов имеют реализации; это будет подтверждено примерами, к которым мы сейчас и перейдем. Точнее: следуя в основном классификации сложноподчиненных предложений, данной в книге [Грамматика 1970] (и сохраняя, с незначительными изменениями, используемую там терминологию), мы укажем для каждого класса, какие типы корреляторов и типы структуры для него возможны, и параллельно приведем соответствующие примеры.

А. Местоименно-соотносительные предложения

А1. Отождествительные предложения

Соотносительные слова³⁰: *тот, та, то₁; каждый, всякий, любой, все, никто, кто-нибудь, кто-то, кое-кто, ...; всё, ничто, что-нибудь, что-то, кое-что, ...; там, туда, оттуда; здесь, сюда, отсюда; везде, нигде, никуда, ниоткуда, где-то, куда-то, откуда-то; таков, такой, так, столько, настолько, постольку.*

Союзные слова: *кто, что, чей; где, куда, откуда; каков, какой, как, сколько, насколько, поскольку.*

А1а. Предложения с корреляторами *тот (та), ... , кто (что); тот (та), ... , чей; то₁, ... , что; такой, ... , какой (как); так ... как; столько, ... сколько; настолько, ... насколько; постольку, ... поскольку.*

Типы корреляторов: *ЧЕПК, ЧЕПУ.*

Типы структуры: *чIа, чIIа.*

Примеры:

(117) *Тот₁, кто (что)₂ шел₃ впереди₄, молчал₅.*

{1, 2, 3, 4} = А; {2, 3, 4} = В.

5 → А; 1 → В; 3 → 2; 3 → 4.

(118) *Чьи₁ работы₂ проверены₃, те₄ могут₅ узнать₆ оценки₇.*

{1, 2, 3, 4} = А; {1, 2, 3} = В.

5 → А; 5 → 6; 6 → 7; 4 → В; 3 → 2; 2 → 1.

(119) *Тот₁ смелый₂, кто₃ не₄ боится₅ опасности₆, пойдет₇ вперед₈.*

{1, ..., 6} = А; {3, 4, 5, 6} = В; {1, 2} = С; {4, 5} = D.

7 → А; 7 → 8; С → В; 2 → 1; D → 3; D → 6; 5 → 4.

(120) *Погода₁ стоит₂ такая₃, какой₄ в₅ сентябре₆ ожидать₇ трудно₈.*

{3, ..., 8} = А; {4, ..., 8} = В; {5, 6} = С.

2 → 1; 2 → А; 3 → В; 8 → 7; 7 → С; 7 → 4.

(121) *Погода₁ стоит₂ такая₃ холодная₄, какой₅ в₆ сентябре₇ ожидать₈ трудно₉.*

{3, ..., 9} = А; {5, ..., 9} = В; {3, 4} = С; {6, 7} = D.

2 → 1; 2 → А; С → В; 4 → 3; 9 → 8; 8 → D; 8 → 5.

³⁰ Перечисляя возможные в том или ином случае соотносительные слова, мы всегда будем подразумевать, что возможны также составные соотносительные слова (§ 2, пункт А4), образованные на основе перечисляемых. Например, на основе соотносительного слова *тот* образуются соотносительные слова *не тот, тот же, тот самый, тот же самый.*

- (122) Он₁ пишет₂ так₃, как₄ никто₅ из₆ нас₇ не₈ умеет₉.
 {3, ..., 9}=A; {4, ..., 9}=B; {5, 6, 7}=C; {6, 7}=D; {8, 9}=E.
 2→1; 2→A; 3→B; E→C; E→4; 5→D; 9→8.
 (По поводу СГ С см. § 2, пункт Г9.)
- (123) Он₁ так₂ пишет₃, как₄ никто₅ из₆ нас₇ не₈ умеет₉.
 {2, ..., 9}=A; {4, ..., 9}=B; {2, 3}=C; {5, 6, 7}=D; {6, 7}=E; {8, 9}=F.
 A→1; C→B; 3→2; F→D; F→4; 5→E; 9→8.
- (124) Он₁ сделал₂ ровно₃ столько₄, сколько₅ мы₆ оба₇ вместе₈.
 {3, ..., 8}=A; {5, 6, 7, 8}=B; {3, 4}=C.
 2→1; 2→A; C→B; 4→3; 5→6; 6→7; 7→8.
- (125) Мне₁ стало₂ настолько₃ же₄ легче₅, насколько₆ тяжелее₇ стало₈ ему₉.
 {3, ..., 9}=A; {6, 7, 8, 9}=B; {3, 4, 5}=C; {3, 4}=D.
 2→1; 2→A; C→B; 5→D; 8→9; 8→7; 7→6.

А1б. Предложения с корреляторами *каждый* (всякий, любой, все, никто, кто-нибудь, кто-то, кое-кто, ...), ... *кто* (чей); *всё* (ничто, что-нибудь, что-то, кое-что, ...), ... *что*.

Типы корреляторов: ЧЕДК, ЧЕДУ.

Типы структуры: чIα, чIIα.

Примеры:

- (126) Я₁ не₂ знаю₃ никого₄, кто₅ бы₆ читал₇ стихи₈ лучше₉ Игоря₁₀.
 {4, ..., 10}=A; {5, ..., 10}=B; {5, 6}=C; {2, 3}=D.
 D→1; D→A; 3→2; 4→B; 7→C; 7→8; 7→9; 9→10.
 (По поводу СГ С см. § 2., пункт А8.)

- (127) Казалось₁, он₂ понимал₃ что-то₄ очень₅ важное₆, чего₇ не₈ понимали₉ мы₁₀.
 {2, ..., 10}=A; {4, ..., 10}=B; {7, 8, 9, 10}=C; {4, 5, 6}=D; {8, 9}=E.
 A→1; 3→2; 3→B; D→C; 4→6; 6→5; E→10; E→7; 9→8.
 (По поводу СГ А см. § 2, пункт Г16.)

А1в. Предложения с корреляторами *здесь* (сюда, отсюда), ... *где* (куда, откуда).

Тип коррелятора: ЧЕДК.

Тип структуры: чIβ.

Примеры:

- (128) Сюда₁, где₂ все₃ его₄ знают₅, он₆ не₇ поедет₈.
 {2, 3, 4, 5}=A; {7, 8}=B.
 B→6; B→1; 1→A; 8→7; 5→3; 5→4; 5→2.
- (129) Теперь₁ он₂ снова₃ живет₄ здесь₅, где₆ прошло₇ его₈ детство₉.
 {6, 7, 8, 9}=A.
 4→2; 4→5; 4→3; 4→1; 5→A; 7→9; 7→6; 9→8.

Замечание. Соотносительные слова *здесь*, *сюда*, *отсюда* всегда располагаются контактно с придаточной частью (во всяком случае, предложения с удаленным расположением воспринимаются как противоречащие норме: **Теперь он снова здесь живет, где прошло его детство*). Причина этого состоит, видимо, в том, что так как при удаленном расположении придаточная часть синтаксически подчинялась бы словосочетанию «глагол+слово-заместитель» и поэтому семантически тяготела бы к глаголу не меньше, чем к слову-заместителю, одна

— и та же семантическая валентность глагола оказалась бы заполненной дважды словом-заместителем и придаточной частью — что невозможно.

А1г. Предложения с корреляторами *там* (*туда, оттуда*), ... *где* (*куда, откуда*).

Типы корреляторов: ЧЕПК, ЧЕПУ, ЧЕДК.

Типы структуры: ч1α, ч1Πα, ч1β.

Наиболее регулярным случаем является здесь коррелятор типа ЧЕПК и структура типа ч1α, например:

(130) Там₁, куда₂ мы₃ шли₄, нас₅ ждали₆.

{1, 2, 3, 4} = A; {2, 3, 4} = B.

6 → 5; 6 → A; 1 → B; 4 → 3; 4 → 2.

Коррелятор типа ЧЕПУ и структура типа ч1Πα возможны только при наличии логического ударения на соотносительном слове:

(131) Мы₁ туда₂ пойдём₃, где₄ нас₅ ждут₆.

{2, ..., 6} = A; {4, 5, 6} = B; {2, 3} = C.

A → 1; C → B; 3 → 2; 6 → 5; 6 → 4.

В некоторых предложениях соотносительные слова *там, туда, оттуда* допускают наряду со своим основным толкованием как простых соотносительных слов еще одно — как соотносительных слов с дополнительным значением слова-заместителя (как *здесь, сюда, отсюда*). Каждому из двух смыслов такого омонимичного предложения отвечает своя ССГ; одна из этих двух ССГ, с коррелятором типа Π, имеет тип α, другая, с коррелятором типа Д — тип β. При этом соотносительное слово всегда расположено контактно с придаточной частью, т. к. удаленное расположение несовместимо с дополнительным значением слова-заместителя (см. замечание в пункте А1в).

Пример:

(132) Туда₁, где₂ все₃ его₄ знают₅, он₆ не₇ поедет₈.

(i) {1, ..., 5} = A; {2, 3, 4, 5} = B; {7, 8} = C.

C → 6; C → A; 8 → 7; 1 → B; 5 → 3; 5 → 4; 5 → 2.

(ii) {2, 3, 4, 5} = A; {7, 8} = B.

B → 6; B → 1; 8 → 7; 1 → A; 5 → 3; 5 → 4; 5 → 2.

Здесь ССГ (i) имеет тип ч1α (тип коррелятора — ЧЕПК), а ССГ (ii), аналогичная примеру (128), — тип ч1β (тип коррелятора — ЧЕДК).

А1д. Предложения с корреляторами *везде* (*нигде, нигуда, ниоткуда, где-то, куда-то, откуда-то, ...*), ... *где* (*куда, откуда*).

Типы корреляторов: ЧЕДК, ЧЕДУ.

Типы структуры: ч1α, ч1Πα.

Эти предложения отличаются от предложений пункта А1в тем, что соотносительное слово имеет дополнительное значение квантора (и не имеет дополнительного значения слова-заместителя). Поэтому структура имеет тип α; соотносительное слово может быть удалено от придаточной части.

Примеры:

(133) Нигде₁, куда₂ он₃ раньше₄ попадал₅, не₆ были₇ ему₈ так₉ рады₁₀.

{1, ..., 5} = A; {2, 3, 4, 5} = B; {6, 7, 9, 10} = C; {6, 7} = D; {9, 10} = E.

C → 8; C → A; D → E; 7 → 6; 10 → 9; 1 → B; 5 → 3; 5 → 4; 5 → 2.

(По поводу СГ С и Е см. § 2, пункты Г10 и Г9.)

(134) *Везде₁ можно₂ жить₃, где₄ есть₅ работа₆.*

{4, 5, 6}=A; {1, 2, 3}=B; {2, 3}=C.

B→A; C→1; 2→3; 5→6; 5→4.

(По поводу СГ С см. § 2, пункт Г4.)

(135) *Он₁ уехал₂ куда-то₃ далеко₄, откуда₅ трудно₆ выбраться₇.*

{3, ..., 7}=A; {5, 6, 7}=B; {3, 4}=C; {6, 7}=D.

2→1; 2→A; C→B; 4→3; D→5; 6→7.

(По поводу СГ D см. § 2, пункт Г4.)

А1е. Предложения с корреляторами *таков, ... каков (какой, как)*.

Тип коррелятора: ЧЕПК.

Тип структуры ч1а.

Пример:

(136) *Я₁ не₂ таков₃, каким₄ кажусь₅ с₆ первого₇ взгляда₈.*

{2, ..., 8}=A; {4, ..., 8}=B; {2, 3}=C; {6, 7, 8}=D; {6, 8}=E.

A→1; C→B; 3→2; 5→4; 5→D; E→7.

Заметим, что здесь СГ А выделяется не только по соображениям, изложенным в начале настоящего параграфа, но и по пункту Г10 § 2. СГ D выделяется по пункту Г1 § 2.

А1ж. Эллиптические предложения (без соотносительного слова).

Тип коррелятора: ЧН.

Типы структуры: чШβ, чШα.

Пример:

(137) *Что₁ мог₂ Петька₃, не₄ мог₅ никто₆.*

{1, 2, 3}=A; {4, 5}=B.

B→6; B→A; 5→4; 2→3; 2→1.

Замечание. Для предложений этого вида тип α возможен, как кажется, лишь тогда, когда придаточная часть подчинена всей главной части в целом — что, в свою очередь, в этих предложениях может возникать лишь случайно, если главная часть достаточно коротка, например: *Кто сдал работы, пусть выйдут* (где главная часть состоит из одного составного слова *пусть выйдут*). Так же обстоит дело для многих других видов сложноподчиненных предложений без соотносительных слов. В этих случаях мы не будем далее оговаривать отмеченное только что обстоятельство и не будем, как правило, приводить примеров структур типа Шα.

А2. Предложения фразеологического типа

Соотносительные слова: *так, таков, столько, столь, настолько; до такой степени, до того, таким образом.*

Союзы: *что, чтобы; будто, как будто, словно, точно, что будто, что как будто, что словно, что точно.*

А2а. Неэллиптические предложения (с соотносительным словом).

Типы корреляторов: ОЕПК, ОЕПУ.

Типы структуры: о1а, оШα.

Примеры:

- (138) Таково₁ свойство₂ древних₃ вещей₄, что₅ они₆ задают₇ работу₈ мысли₉.
 $\{5, \dots, 9\} = A; \{1, 2, 3, 4\} = B; \{6, 7, 8, 9\} = C; \{2, 3, 4\} = D$.
 $B \rightarrow A; 1 \rightarrow D; 2 \rightarrow 4; 4 \rightarrow 3; 7 \rightarrow 6; 7 \rightarrow 8; 7 \rightarrow 9$.

(СГ, состоящая из придаточной части и ее «хозяина», совпадает здесь со всем предложением СГ D выделяется по пункту В1 § 2.)

- (139) Деньги₁ тратил₂ так₃, как₄ будто₅ они₆ его₇ отягощали₈.
 $\{3, \dots, 8\} = A; \{4, \dots, 8\} = B; \{6, 7, 8\} = C; \{4, 5\} = D$.
 $2 \rightarrow 1; 2 \rightarrow A; 3 \rightarrow B; 8 \rightarrow 6; 8 \rightarrow 7$.

- (140) Он₁ подошел₂ так₃ тихо₄, что₅ я₆ его₇ не₈ заметил₉.
 $\{3, \dots, 9\} = A; \{5, \dots, 9\} = B; \{3, 4\} = C; \{6, 7, 8, 9\} = D; \{8, 9\} = E$.
 $2 \rightarrow 1; 2 \rightarrow A; C \rightarrow B; 4 \rightarrow 3; E \rightarrow 6; E \rightarrow 7; 9 \rightarrow 8$.

- (141) Я₁ не₂ настолько₃ богат₄, чтобы₅ покупать₆ такие₇ вещи₈.

$\{2, \dots, 8\} = A; \{5, 6, 7, 8\} = B; \{2, 3, 4\} = C; \{2, 3\} = D; \{6, 7, 8\} = E$.
 $A \rightarrow 1; C \rightarrow B; 4 \rightarrow E; 3 \rightarrow 2; 6 \rightarrow 8; 8 \rightarrow 7$.

(СГ С выделяется как по соображениям, изложенным в начале настоящего параграфа, так и по пункту Г10 § 2.)

- (142) Он₁ так₂ бежит₃, словно₄ за₅ ним₆ гонятся₇.
 $\{2, \dots, 7\} = A; \{4, 5, 6, 7\} = B; \{2, 3\} = C; \{5, 6, 7\} = D; \{5, 6\} = E$.
 $A \rightarrow 1; C \rightarrow B; 3 \rightarrow 2; 7 \rightarrow E$.

A2б. Эллиптические предложения (без соотносительного слова)³¹.

Тип коррелятора: ОН.

Типы структуры: оШβ, оШα.

Примеры:

- (143) С₁ братом₂ встретил₃, будто₄ вчера₅ видел₆.
 $\{4, 5, 6\} = A; \{5, 6\} = B; \{1, 2\} = C$.
 $3 \rightarrow C; 3 \rightarrow A; 6 \rightarrow 5$.

- (144) Ты₁ читай₂, чтобы₃ всем₄ было₅ слышно₆.
 $\{3, 4, 5, 6\} = A; \{4, 5, 6\} = B; \{5, 6\} = C$.
 $2 \rightarrow 1; 2 \rightarrow A; C \rightarrow 4; 5 \rightarrow 6$.

А3. Вмещающие предложения

Соотносительные слова: то₂; тот факт, то обстоятельство, по той причине, при том условии, с той целью, в том духе, ...

Союзные скрепы: что, чтобы; относительные местоимения.

А3а. Предложения с союзами что, чтобы.

Типы корреляторов: ОЕПК, ОЕПУ.

Типы структуры: оIα, оIIα.

Регулярный случай — коррелятор типа ОЕПК и структура типа оIα:

³¹ Соотносительное слово может опускаться при союзах *будто*, *как будто*, *словно*, *точно* и в некоторых случаях при союзе *чтобы*.

- (145) То₁, что₂ он₃ рано₄ начал₅ работать₆, помогло₇ узнать₈ жизнь₉.
 {1, ..., 6}=A; {2, ..., 6}=B; {3, 4, 5, 6}=C.
 7→A; 7→8; 8→9; 1→B; 5→3; 5→6; 5→4.
- (146) Обязанность₁ его₂ состояла₃ в₄ том₅, чтобы₆ выдавать₇ инвентарь₈.
 {4, ..., 8}=A; {6, 7, 8}=B; {4, 5}=C; {7, 8}=D.
 3→1; 1→2; 3→A; C→B; 7→8.
- (147) Он₁ здоров₂ благодаря₃ тому₄, что₅ правильно₆ питается₇.
 {3, ..., 7}=A; {5, 6, 7}=B; {3, 4}=C; {6, 7}=D.
 2→1; 2→A; C→B; 7→6.
- (148) Он₁ пришел₂ с₃ той₄ целью₅, чтобы₆ все₇ высказать₈.
 {3, ..., 8}=A; {6, 7, 8}=B; {3, 4, 5}=C; {3, 5}=D; {7, 8}=E.
 2→1; 2→A; C→B; D→4; 8→7.

Тип коррелятора *ОЕПУ* и тип структуры *оЩа* возможны лишь при наличии логического ударения на соотносительном слове:

- (149) В₁ том₂ и₃ беда₄, что₅ ему₆ неинтересно₇.
 {5, 6, 7}=A; {1, 2, 3, 4}=B; {1, 2}=C; {3, 4}=D; {6, 7}=E.
 B→A; D→C; 7→6.

(СГ D выделяется по пункту Г9 § 2.)

- (150) Я₁ для₂ того₃ приехал₄, чтобы₅ работать₆.
 {2, ..., 6}=A; {5, 6}=B; {2, 3, 4}=C; {2, 3}=D.
 A→1; C→B; 4→D.

А36. Предложения с относительными местоимениями в качестве союзных скреп.

Типы корреляторов: *ЧЕПК, ЧЕПУ*.

Типы структуры: *чИа, чЩа*.

Как и в предыдущем случае, регулярным является контактное расположение соотносительного слова, а удаленное возможно только при наличии на нем логического ударения.

Примеры:

- (151) Все₁ зависит₂ от₃ того₄, где₅ мы₆ находимся₇.
 {3, ..., 7}=A; {5, 6, 7}=B; {3, 4}=C.
 2→1; 2→A; C→B; 7→6; 7→5.
- (152) Важно₁ только₂ то₃, каким₄ тоном₅ это₆ сказано₇.
 {2, ..., 7}=A; {3, ..., 7}=B; {4, 5, 6, 7}=C.
 1→A; B→2; 3→C; 7→6; 7→5; 5→4.
- (153) Теперь₁ в₂ том₃ вопрос₄, когда₅ он₆ придет₇.
 {2, ..., 7}=A; {5, 6, 7}=B; {2, 3, 4}=C; {2, 3}=D.
 A→1; C→B; 4→D; 7→6; 7→5.

Б. Присловные предложения

Б1. Присубстантивные предложения

Соотносительные слова (антецеденты): *тот, такой*.

Союзные слова: *который, какой, чей, что, когда, где, куда, откуда*.

Б1а. Определительные предложения с антецедентом.

Тип коррелятора: ЧЕПУ.

Тип структуры: чIIα.

Примеры:

- (154) *Вошел₁ тот₂ человек₃, которого₄ я₅ встретил₆ утром₇.*
{2, ..., 7}=A; {4, 5, 6, 7}=B; {2, 3}=C.
1→A; C→B; 3→2; 6→5; 6→4; 6→7.
- (155) *В₁ той₂ комнате₃, где₄ дети₅ спят₆, окна₇ открыты₈.*
{1, ..., 6}=A; {4, 5, 6}=B; {1, 2, 3}=C; {1, 3}=D.
8→7; 8→A; C→B; D→2; 6→5; 6→4.
- (156) *Этот₁ был₂ такой₃ умелец₄, какого₅ теперь₆ не₇ найдешь₈.*
{2, ..., 8}=A; {3, ..., 8}=B; {5, 6, 7, 8}=C; {3, 4}=D; {7, 8}=E.
A→1; 2→B; D→C; 4→3; E→5; E→6; 8→7.

Б1б. Определительные предложения без antecedента и распространительные предложения.

Тип коррелятора: ЧН.

Типы структуры: чIIIβ., чIIIα.

Примеры:

- (157) *Этот₁ был₂ умелец₃, каких₄ теперь₅ не₆ найдешь₇.*
{2, ..., 7}=A; {4, 5, 6, 7}=B; {6, 7}=C.
A→1; 2→3; 3→B; C→4; C→5; 7→6.
- (158) *Зашел₁ Ваня₂, который₃ жил₄ теперь₅ по₆ соседству₇.*
{3, ..., 7}=A; {6, 7}=B.
1→2; 2→A; 4→3; 4→5; 4→B.

В примерах (157) и (158) структуры имели тип β. Приведем теперь пример структуры типа α:

- (159) *Я₁ считал₂ его₃ человеком₄, который₅ не₆ умеет₇ работать₈.*
{4, 5, 6, 7}=A; {5, 6, 7}=B; {6, 7}=C.
2→1; 2→3; 2→A; 4→B; C→5; C→8; 7→6.
Здесь СГ А выделяется по пункту Г15 § 2.

Б2. Прикомпаративные предложения

Союзы: чем, нежели.

Тип коррелятора: ОН.

Тип структуры: оIIIβ, оIIIα.

Придаточная часть в этих предложениях подчиняется, как правило, компаративу или «сравнительному» слову или словосочетанию, например:

- (160) *Все₁ оказалось₂ проще₃, чем₄ я₅ думал₆.*
{4, 5, 6}=A; {5, 6}=B.
2→1; 2→3; 3→A; 6→5.
- (161) *Он₁ смотрел₂ на₃ нее₄ другими₅ глазами₆, чем₇ вчера₈.*
{7, 8}=A; {5, 6}=B; {3, 4}=C.
2→1; 2→C; 2→B; B→A; 6→5.
(СГ В выделяется по пункту Г1 § 2.)

Особый случай представляют собой предложения со словами *лучше, скорее* в значении «предпочтительнее»; в них придаточная часть зависит от словосочетания, выделяемого в СГ по критерию Г именно потому, что ни одной из его компонент придаточная часть не может быть соотнесена, например:

- (162) Ты₁ лучше₂ объяснил₃ бы₄ все₅ по-хорошему₆, чем₇ обижаться₈.
 {7, 8}=A; {2, 3, 4, 6}=B; {3, 4}=C. B→1; B→5; B→A; C→2; C→6.

Опорный компаратив в таких предложениях может опускаться, например:

- (163) Чем₁ спать₂, погулять₃ бы₄ сходили₅.
 {1, 2}=A; {3, 4, 5}=B; {3, 4}=C. B→A; 5→C.

Б3. Изъяснительные предложения

Союзные скрепы: *что, как, будто, как будто, чтобы, как бы, когда, если*; ∅³²; вопросительные местоимения.

Б3а. Предложения с невопросительной придаточной частью.

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

Примеры:

- (164) Я₁ знаю₂, что₃ он₄ приехал₅.
 {3, 4, 5}=A; {4, 5}=B.
 2→1; 2→A; 5→4.

- (165) Бююс₁, как₂ бы₃ он₄ не₅ опоздал₆.
 {2, ..., 6}=A; {4, 5, 6}=B; {2, 3}=C; {5, 6}=D.
 1→A; D→4; 6→5.

Б3б. Предложения с вопросительной придаточной частью, не содержащей вопросительного местоимения (и содержащей частицу *ли*).

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

В этих предложениях союзная скрепа отсутствует (частица *ли*, являющаяся частью составного слова — см. § 2, пункт А9 — не может служить союзной скрепой). Поэтому мы считаем, что придаточная часть получается здесь в результате действия на основу оператора с нулевой реализацией — *нулевого союза*; таким образом, мы получаем структуру типа *о*.

Пример:

- (166) Я₁ хочу₂ узнать₃, приехал₄ ли₅ он₆.
 {4, 5, 6}=A; {4, 5}=B. 2→1; 2→3; 3→A; B→6.

Б3в. Предложения с вопросительной придаточной частью, вводимой вопросительным местоимением.

Тип коррелятора: *ЧН*.

Типы структуры: *чШβ, чШα*.

Пример:

- (167) Я₁ знаю₂, кто₃ приехал₄.
 {3, 4}=A. 2→1; 2→A; 4→3.

³² ∅ — нулевой союз (см. ниже, пункт Б3б).

Замечание. Предложения, которые в книге [Грамматика 1970] классифицируются как изъяснительные с включенным в них местоимением *то*₂ (*он знал о том, что она уезжает; он знал и то, что она уезжает* и т. п.), мы рассматриваем как частный случай вмещающих предложений, поскольку по строению они ничем не отличаются от остальных вмещающих и исключение их из числа последних основано лишь на том, что у них или у некоторых близких к ним предложений имеются синонимичные предложения иной структуры (настоящие изъяснительные) — что представляется довольно искусственным.

В. Обстоятельственные предложения

Прежде чем переходить к рассмотрению многочисленных типов обстоятельственных предложений, необходимо сделать некоторые замечания общего характера.

1. За исключением отдельных случаев, указываемых ниже, мы не считаем придаточную часть обстоятельного предложения распространением всей главной части в целом (ср. замечание 2 к пункту Г13 предыдущего параграфа). Поэтому, придерживаясь классификации, принятой в книге [Грамматика 1970], мы в то же время предпочитаем используемому там термину «детерминантные предложения» традиционный термин «обстоятельственные».

2. Многие союзы, вводящие придаточные части обстоятельственных предложений, существуют в двух вариантах — нерасчленном и расчленном (*потому что* и *потому, что; прежде чем* и *прежде, чем* и т. п.). В расчленном варианте первая компонента (*потому, прежде...*) входит в главную часть и, как правило, может быть расположена неконтактно с придаточной частью. Нам представляется поэтому естественным считать в этом случае союзом только вторую компоненту, а первую рассматривать как соотносительное слово.

Заметим, что расчленение союза происходит тогда и только тогда, когда на его первую компоненту падает логическое ударение (которое становится особенно сильным, если первая компонента удалена от придаточной части).

3. Напротив, факультативную заключительную частицу *то, так, тогда* (*Если число делится на шесть, то оно четно; Как только начался дождь, так все побежали в беседку* и т. п.), помещаемую между главной и придаточной частями — при препозиции последней — в качестве «пограничного знака», мы относим не к главной части, как сделано в книге [Грамматика 1970], а к придаточной и считаем ее компонентой (разрывного) союза³³.

В1. Причинные предложения

В1а. Предложения с нерасчленным союзом.

Союзы: *потому что, оттого что, вследствие того что, благодаря тому что, ввиду того что, в связи с тем что, ...; так как, поскольку; так как... то; поскольку... то; ибо, благо, тем более что, а то, а не то.*

³³ Кстати, термин «заключительная частица» как раз отражает представление, что она входит в придаточную часть: если А заключает В, то тем самым А содержится в В. Исходя из представления, что эта частица входит в главную часть, ее следовало бы назвать «начальной».

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

Примеры:

- (168) *Вчера₁ мы₂ в₃ лес₄ не₅ ходили₆, потому₇ что₈ шел₉ дождь₁₀.*
{7, 8, 9, 10}=A; {9, 10}=B; {7, 8}=C; {5, 6}=D; {3, 4}=E.
D→2; D→E; D→1; D→A; 6→5; 9→10.

- (169) *Поскольку₁ повестка₂ дня₃ исчерпана₄, заседание₅ объявляется₆ закрытым₇.*
{1, 2, 3, 4}=A; {2, 3, 4}=B; {6, 7}=C.
C→5; C→A; 6→7; 4→2; 2→3.

(СГ С выделяется здесь по критерию Г, аналогично пункту Г13 § 2.)

В16. Предложения с расчлененным союзом.

Соотносительные слова: *потому, оттого, тем более*.

Союз: *что*.

Типы корреляторов: *ОЕПК, ОЕПУ*.

Типы структуры: *оIα, оIIα*.

Примеры:

- (170) *Проснулась₁ она₂ оттого₃, что₄ ее₅ кто-то₆ окликнул₇.*
{3, ..., 7}=A; {4, 5, 6, 7}=B; {5, 6, 7}=C.
1→2; 1→A; 3→B; 7→6; 7→5.

- (171) *Она₁ оттого₂ проснулась₃, что₄ ее₅ кто-то₆ окликнул₇.*
{2, ..., 7}=A; {4, 5, 6, 7}=B; {2, 3}=C; {5, 6, 7}=D.
A→1; C→B; 3→2; 7→6; 7→5.

Замечание. Предложения, возникающие при расчленении союзов *вследствие того что, благодаря тому что, ввиду того что* и т. п., мы относим к вмещающим (см. пункт А3а, пример (147)).

В2. Условные предложения

В2а. Основной случай: предложения без соотносительного слова.

Союзы: *если, ежели, коли, если бы, ежели бы, коли бы, кабы; раз; если уж, ежели уж, коли уж, раз уж; ли³⁴; если (ежели, коли, если бы, ежели бы, коли бы, кабы, раз, если уж, ежели уж, коли уж, раз уж) ... то (так, тогда, то уж, так уж, тогда уж)*.

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

Примеры:

- (172) *Мы₁ приедем₂, если₃ дождь₄ перестанет₅.*
{3, 4, 5}=A; {4, 5}=B. 2→1; 2→A; 5→4.

- (173) *Мы₁ бы₂ приехали₃, если₄ бы₅ дождь₆ перестал₇.*
{4, 5, 6, 7}=A; {6, 7}=B; {4, 5}=C; {1, 2}=D
3→D; 3→A; 7→6.

- (174) *Бела₁ ли₂ случится₃, она₄ всегда₅ поможет₆.*
{1, 2, 3}=A; {1, 3}=B; {5, 6}=C.
C→4; C→A; 6→5; 3→1.

³⁴ Союз *ли* [см. пример (174)] следует отличать от вопросительной частицы *ли*.

- (175) Если₁ дважды₂ два₃ — пять₄, то₅ снег₆ черен₇.
{1, ..., 5} = A; {2, 3, 4} = B; {1, 5} = C; {2, 3} = D.
7 → 6; 7 → A; 4 → D; 3 → 2.

(СГ D выделяется по критерию Г.)

- (176) Раз₁ уж₂ я₃ здесь₄, то₅ расскажу₆ обо₇ всем₈.
{1, ..., 5} = A; {3, 4} = B; {1, 2, 5} = C; {1, 2} = D; {7, 8} = E.
6 → E; 6 → A; 4 → 3.

В2б. Специальный случай: предложения с соотносительным словом.

Соотносительные слова: *в (том) случае, на (тот) случай, при (том) условии.*

Союзы: *если, если бы.*

Типы корреляторов: *ОЕПК, ОЕПУ.*

Типы структура: *oIα, oIIα.*

Удаленное расположение соотносительного слова возможно лишь при наличии на нем логического ударения.

Примеры:

- (177) В₁ случае₂, если₃ нас₄ пригласят₅, мы₆ приедем₇.
{1, ..., 5} = A; {3, 4, 5} = B; {1, 2} = C; {4, 5} = D.
7 → 6; 7 → A; C → B; 5 → 4.

- (178) Мы₁ в₂ том₃ случае₄ приедем₅, если₆ нас₇ пригласят₈.
{2, ..., 8} = A; {6, 7, 8} = B; {2, 3, 4, 5} = C; {2, 3, 4} = D; {2, 4} = E; {7, 8} = F.
A → 1; C → B; 5 → D; E → 3; 8 → 7.

В3. Уступительные предложения

В3а. Предложения свободной структуры с нерасчлененным союзом.

Союзы: *хотя, хоть, несмотря на то что, даром что, пусть, пускай; хотя бы, хоть бы.*

Тип коррелятора: *ОН.*

Типы структуры: *oIIIβ, oIIIα.*

Примеры:

- (179) Зайди₁ все-таки₂ в₃ институт₄, хоть₅ ты₆ и₇ устал₈ с₉ дороги₁₀.
{5, ..., 10} = A; {6, ..., 10} = B; {1, 2} = C; {7, 8} = D; {3, 4} = E; {9, 10} = F.
C → E; C → A; 1 → 2; D → 6; D → F.

(По поводу СГ C и D см. § 2, пункты Г9 и Б1.)

- (180) Пусть₁ нам₂ будет₃ трудно₄, мы₅ не₆ отступим₇.
{1, 2, 3, 4} = A; {2, 3, 4} = B; {6, 7} = C; {3, 4} = D.
C → 5; C → A; D → 2; 3 → 4.

- (181) Мы₁ не₂ отступим₃, хотя₄ бы₅ нам₆ было₇ очень₈ трудно₉.
{4, ..., 9} = A; {6, 7, 8, 9} = B; {4, 5} = C; {2, 3} = D; {7, 8, 9} = E; {8, 9} = F.
D → 1; D → A; 3 → 2; E → 6; 7 → F; 9 → 8.

Замечание. Предложения, классифицируемые в книге [Грамматика 1970] как уступительные с противительным союзом в главной части (*Хотя я весь день работал, но усталости не чувствовал; Пусть нам будет труднее, зато мы приедем первыми*) и очень близкие по смыслу к противительным предложе-

ниям, нам представляется более естественным рассматривать как противительные, в которых одна из компонент вводится уступительным союзом. Можно, конечно, считать сочетание уступительного и противительного союзов (*хотя... но; пусть... зато* и т. п.) одним разрывным союзом. Но такой разрывный союз естественно рассматривать не как одноместный, а как двуместный оператор, т. е. особый противительный союз; таким образом, и в этом случае предложение оказывается противительным.

ВЗб. Предложения свободной структуры с расчлененным союзом.

Соотносительные слова: *несмотря на то, даром.*

Союз: *что.*

Тип коррелятора: *ОЕПК.*

Тип структуры: *оIα.*

Пример:

- (182) *Несмотря₁ на₂ то₃, что₄ еще₅ очень₆ холодно₇, мы₈ переехали₉ на₁₀ дачу₁₁.*
 $\{1, \dots, 7\} = A; \{4, 5, 6, 7\} = B; \{1, 2, 3\} = C; \{5, 6, 7\} = D; \{2, 3\} = E; \{10, 11\} = F;$
 $\{6, 7\} = G.$
 $9 \rightarrow 8; 9 \rightarrow F; 9 \rightarrow A; C \rightarrow B; G \rightarrow 5; 7 \rightarrow 6.$

(СГ G выделяется по пункту В1 или Г9 § 2.)

ВЗв. Предложения связанной структуры.

Союзные слова: сочетания относительных местоимений с частицей *ни.*

Тип коррелятора: *ЧН.*

Типы структуры: *чIIIβ, чIIIα.*

Сочетание относительного местоимения с *ни* представляет собой логический оператор, по значению близкий к квантору общности (например, *как ни тихо* \approx «при любой степени тихости») или просто имеющий значение этого квантора (например, *куда бы ни* \approx «всюду, куда»). Поэтому такое сочетание вместе с подчиняющим его членом придаточной части по пункту Г9 § 2 выделяется в СГ³⁵.

Заметим также, что в предложениях этого типа придаточная часть нередко соотносится не с одним членом главной части, а с некоторой группой членов, которая выделяется тогда в СГ по критерию Г. В частности, это происходит при наличии в главной части «коррелирующего» с придаточной частью кванторного слова [см. примеры (184) и (185)].

Примеры:

- (183) *Он₁ не₂ пришел₃, сколько₄ его₅ ни₆ звали₇.*
 $\{4, 5, 6, 7\} = A; \{4, 6, 7\} = B; \{4, 6\} = C; \{2, 3\} = D.$
 $D \rightarrow 1; D \rightarrow A; 3 \rightarrow 2; B \rightarrow 5; 7 \rightarrow C.$
- (184) *Куда₁ бы₂ я₃ ни₄ поехал₅, везде₆ мне₇ найдется₈ работа₉.*
 $\{1, \dots, 5\} = A; \{1, 2, 4, 5\} = B; \{1, 2, 4\} = C; \{1, 2\} = D; \{6, 8\} = E.$
 $E \rightarrow 9; E \rightarrow 7; E \rightarrow A; 8 \rightarrow 6; B \rightarrow 3; 5 \rightarrow C.$

(NB: СГ E выделяется не по пункту Г9 § 2 — *везде* здесь является словом-заместителем — а потому, что только с этим словосочетанием может быть соотнесена СГ A.)

³⁵ При этом структура предложения имеет тип ч, поскольку оператор действует не на всю придаточную часть, а на один из ее членов и сам может при этом рассматриваться как один из членов придаточной части.

- (185) *Что₁ бы₂ учитель₃ ни₄ говорил₅, все₆ воспринималось₇ как₈ истина₉.*
 $\{1, \dots, 5\} = A; \{1, 2, 4, 5\} = B; \{1, 2, 4\} = C; \{1, 2\} = D; \{6, 7, 8, 9\} = E; \{8, 9\} = F.$
 $7 \rightarrow 6; 7 \rightarrow F; E \rightarrow A; B \rightarrow 3; 5 \rightarrow C.$
- (186) *Как₁ ни₂ громко₃ мы₄ кричали₅, они₆ нас₇ не₈ слышали₉.*
 $\{1, \dots, 5\} = A; \{1, 2, 3\} = B; \{1, 2\} = C; \{8, 9\} = D.$
 $D \rightarrow 6; D \rightarrow 7; D \rightarrow A; 9 \rightarrow 8; 5 \rightarrow 4; 5 \rightarrow B; 3 \rightarrow C.$

Замечания; 1. Предложения, в которых придаточная часть подчинена непосредственно кванторному слову (*Везде, куда бы я ни поехал, мне найдется работа*) естественно считать частным случаем отождествительных предложений типа А1д. (Предложение *Везде, куда бы я ни поехал...* в отличие от предложения (184), не выражает уступительности.)

2. Предложения с противительным союзом в главной части (*Как мы ни спешили, а на первую электричку все-таки не успели*) мы считаем противительными (ср. замечание в конце пункта В3а).

В4. Предложения следствия

Союз: *так что*.

Тип коллелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШх, оШβ*.

В предложениях следствия, ввиду их семантической близости к сложносочиненным, придаточная часть регулярно подчиняется всей главной части в целом, что дает структуру типа Шх. Возможно также подчинение придаточной части некоторому «полупредикативному» элементу главной, приводящее к структуре типа Шβ.

Примеры:

- (188) *Он₁ пришел₂ ночью₃, так₄ что₅ никто₆ его₇ не₈ видел₉.*
 $\{4, \dots, 9\} = A; \{6, 7, 8, 9\} = B; \{4, 5\} = C; \{1, 2, 3\} = D; \{8, 9\} = E.$
 $D \rightarrow A; 2 \rightarrow 1; 2 \rightarrow 3; E \rightarrow 6; E \rightarrow 7; 9 \rightarrow 8.$
- (189) *Вытянувшись₁ во₂ весь₃ рост₄, так₅ что₆ ноги₇ загородили₈ проход₉, пассажиры₁₀ крепко₁₁ спали₁₂.*
 $\{5, \dots, 9\} = A; \{7, 8, 9\} = B; \{5, 6\} = C; \{1, 2, 3, 4\} = D; \{2, 3, 4\} = E; \{2, 4\} = F.$
 $12 \rightarrow 10; 12 \rightarrow 11; 12 \rightarrow D; D \rightarrow A; 1 \rightarrow E; F \rightarrow 3; 8 \rightarrow 7; 8 \rightarrow 9.$

СГ D в примере (188) и D в примере (189) выделяются по критерию Г ввиду невозможности соотносить придаточную часть с чем-либо «меньшим». СГ E в примере (189) выделяется по пункту Г1 § 2.

В5. Целевые предложения

В5а. Предложения с нерасчлененным союзом.

Союзы: *чтобы, дабы, затем чтобы, для того чтобы, ради того чтобы, во имя того чтобы, с той целью чтобы, в тех целях чтобы*.

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШх*.

Примеры:

(190) Я₁ уехал₂ в₃ деревню₄, чтобы₅ спокойно₆ работать₇.

{5, 6, 7}=A; {6, 7}=B; {2, 3, 4}=C; {3, 4}=D.

C→1; C→A; 2→D; 7→6.

(СГ С выделяется потому, что придаточную часть нельзя соотносить с какой-либо ее компонентой.)

(191) Мальчик₁ украдкой₂, чтобы₃ не₄ заметила₅ мать₆, выскользнул₇ из₈ комнаты₉.

{3, 4, 5, 6}=A; {4, 5, 6}=B; {8, 9}=C; {4, 5}=D.

7→1; 7→C; 7→2; 2→A; D→6; 5→4.

В предложениях со значением «необходимого основания» придаточная часть подчиняется (по критерию Г) всей главной части в целом, например:

(192) Понадобилась₁ эта₂ катастрофа₃, чтобы₄ он₅ понял₆ размеры₇ опасности₈.

{4, ..., 8}=A; {5, 6, 7, 8}=B; {1, 2, 3}=C.

C→A; 1→3; 3→2; 6→5; 6→7; 7→8.

В56. Предложения с расчлененным союзом.

Соотносительное слово: *затем*.

Союз: *чтобы*.

Типы корреляторов: *ОЕПК, ОЕПУ*.

Типы структуры: *оIα, оIIα*.

Пример:

(193) Мы₁ затем₂ и₃ пришли₄, чтобы₅ это₆ сделать₇.

{2, ..., 7}=A; {5, 6, 7}=B; {6, 7}=C; {2, 3, 4}=D; {3, 4}=E.

A→1; D→B; 2→E; 7→6.

Замечание. Предложения, возникающие при расчленении союзов *для того чтобы, ради того чтобы, во имя того чтобы, с той целью чтобы, в тех целях чтобы*, мы относим к вмещающим (ср. замечание к пункту В16). Примеры см. в пункте А3а [предложения (148) и (150)].

В6. Временные предложения

В6а. Предложения гибкой структуры с нерасчлененным союзом.

Союзы: *когда, как*³⁶; *когда... тогда (то, так); как... так; едва, лишь, только, только что, чуть, ...; едва, лишь, только, только что, чуть... как; прежде чем, раньше чем; после того как, до того как, перед тем как; до тех пор как, с тех пор как*.

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

Примеры:

(194) Когда₁ мы₂ вернулись₃, солнце₄ уже₅ садилось₆.

{1, 2, 3}=A; {2, 3}=B; {5, 6}=C.

C→4; C→A; 6→5; 3→2.

(195) Даже₁ теперь₂ страшно₃, как₄ вспомнишь₅.

{4, 5}=A; {1, 2}=B. 3→B; 3→A; 2→1.

³⁶ Для иллюстрации различия между *как*₁ и *как*₂ см. примеры (195), (196), (197) (*как*₁) и (200) (*как*₂).

- (196) Как₁ вспомнишь₂, так₃ страшно₄ становится₅.
 {1, 2, 3}=A; {1, 3}=B. 5→4; 5→A.
- (197) Едва₁ кончили₂ покос₃, как₄ подоспела₅ рожь₆.
 {1, 2, 3, 4}=A; {2, 3}=B; {1, 4}=C. 5→6; 5→A; 2→3.
- (198) Я₁ схватила₂ чашку₃, прежде₄ чем₅ она₆ упала₇ на₈ пол₉.
 {4, ..., 9}=A; {6, 7, 8, 9}=B; {4, 5}=C; {8, 9}=D.
 2→1; 2→3; 2→A; 7→6; 7→C.

В6б. Предложения гибкой структуры с расчлененным союзом.

Соотносительные слова: *прежде, раньше; после того, до того, перед тем; до тех пор, с тех пор.*

Союзы: *чем, как, пока.*

Типы корреляторов: *ОЕПК, ОЕПУ.*

Типы структуры: *оА, оША.*

Пример:

- (199) Я₁ схватила₂ чашку₃ прежде₄, чем₅ она₆ упала₇ на₈ пол₉.
 {4, ..., 9}=A; {5, ..., 9}=B; {6, 7, 8, 9}=C; {8, 9}=D.
 2→1; 2→3; 2→A; 4→B; 7→6; 7→D.

В6в. Предложения негибкой структуры.

Союзы: *как₂, как вдруг.*

Тип коррелятора: *ОН.*

Тип структуры: *оША.*

В этих предложениях придаточная часть всегда подчиняется всей главной части в целом.

Примеры:

- (200) Не₁ проехали₂ и₃ двух₄ километров₅, как₆ началась₇ гроза₈.
 {6, 7, 8}=A; {7, 8}=B; {1, ..., 5}=C; {1, 2}=D; {3, 4, 5}=E; {4, 5}=F.
 C→A; D→E; 2→1; 5→4; 7→8.
- (201) Я₁ шел₂ размышляя₃, как₄ вдруг₅ резкий₆ голос₇ окликнул₈ меня₉.
 {4, ..., 9}=A; {6, 7, 8, 9}=B; {4, 5}=C; {1, 2, 3}=D.
 D→A; 2→1; 2→3; 8→7; 8→9; 7→6.

В7. Сравнительные предложения

Союзы: *как, подобно тому как, так же как, как если бы; как... так; будто, как будто, словно, точно.*

Тип коррелятора: *ОН.*

Типы структуры: *оША, оШБ.*

Придаточная часть в этих предложениях нередко — но не всегда — подчиняется всей главной части в целом.

Примеры:

- (202) Он₁ говорил₂ без₃ запинки₄, как₅ будто₆ отвечал₇ урок₈.
 {5, 6, 7, 8}=A; {7, 8}=B; {5, 6}=C; {2, 3, 4}=D; {3, 4}=E.
 D→1; D→A; 2→E; 7→8.
- (203) Как₁ порыв₂ ветра₃ заставляет₄ шелестеть₅ листья₆, так₇ появление₈ нового₉ лица₁₀ вызвало₁₁ общее₁₂ оживление₁₃.

$\{1, \dots, 7\} = A; \{2, 3, 4, 5, 6\} = B; \{1, 7\} = C; \{8, \dots, 13\} = D.$

$D \rightarrow A; 11 \rightarrow 8; 11 \rightarrow 13; 8 \rightarrow 10; 10 \rightarrow 9; 13 \rightarrow 12; 4 \rightarrow 2; 4 \rightarrow 5; 4 \rightarrow 5; 2 \rightarrow 3.$

Замечание. Предложения, возникающие при расчленении союза *так же как*, относятся к отождествительным (пункт А1а), возникающие при расчленении союза *подобно тому как* — к вмещающим (пункт А3б).

В8. Предложения соответствия

В8а. Предложения свободной структуры.

Союз: *по мере того как*.

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

Пример:

(204) *По₁ мере₂ того₃ как₄ ветер₅ усиливается₆, сильнее₇ шумят₈ сосны₉.*

$\{1, \dots, 6\} = A; \{5, 6\} = B; \{1, 2, 3, 4\} = C; \{1, 2\} = D; \{7, 8\} = E.$

$E \rightarrow 9; E \rightarrow A; 8 \rightarrow 7; 6 \rightarrow 5.$

В8б. Предложения связанной структуры с препозитивной или интерпозитивной придаточной частью.

Союз: *чем... тем*.

Тип коррелятора: *ОН*.

Типы структуры: *оШβ, оШα*.

Пример:

(205) *Чем₁ выше₂ поднималось₃ солнце₄, тем₅ становилось₆ жарче₇.*

$\{1, \dots, 5\} = A; \{2, 3, 4\} = B; \{1, 5\} = C; \{6, 7\} = D.$

$D \rightarrow A; 6 \rightarrow 7; 3 \rightarrow 4; 3 \rightarrow 2.$

(СГ D выделяется здесь потому, что подчинение придаточной части слову *жарче* привело бы к нарушению проективности.)

В8в. Предложения связанной структуры с постпозитивной придаточной частью.

Соотносительное слово: *тем*.

Союз: *чем*.

Тип коррелятора: *ОЕПУ*.

Тип структуры: *оШα*.

Пример:

(206) *Болезнь₁ проходит₂ тем₃ скорее₄, чем₅ заботливее₆ ее₇ лечат₈.*

$\{3, \dots, 8\} = A; \{5, 6, 7, 8\} = B; \{3, 4\} = C; \{6, 7, 8\} = D.$

$2 \rightarrow 1; 2 \rightarrow A; C \rightarrow B; 4 \rightarrow 3; 8 \rightarrow 7; 8 \rightarrow 6.$

Г. Относительно-распространительные предложения

Союзные слова: *что, почему, зачем, отчего*.

Тип коррелятора: *ЧН*.

Типы структуры: *чШα, чШβ*.

Придаточная часть в этих предложениях довольно часто подчиняется всей главной части в целом.

Примеры:

(207) Он₁ говорил₂ долго₃, что₄ с₅ ним₆ редко₇ случалось₈.

{4, ..., 8} = A; {2, 3} = B; {5, 6} = C.

B → 1; 2 → 3; B → A; 8 → 4; 8 → C; 8 → 7.

(208) Обнаружили₁ математический₂ просчет₃, отчего₄ и₅ пришлось₆ переделывать₇ проект₈.

{4, ..., 8} = A; {1, 2, 3} = B; {5, 6} = C.

B → A; 1 → 3; 3 → 2; C → 7; C → 4; 7 → 8.

§ 4. Синтаксическая омонимия

По сравнению с деревьями подчинения и системами составляющих системы синтаксических групп обладают большей «разрешающей способностью», т. е. дают возможность описывать больше смысловых различий. В частности, они позволяют полнее описывать синтаксическую омонимию. Ниже мы укажем некоторые случаи омонимии словосочетаний, ранее не отмечавшиеся из-за того, что для них «разрешающая способность» деревьев подчинения, обычно используемых для описания синтаксической омонимии, недостаточна. С помощью ССГ эти случаи легко описываются. Мы разделим их на два типа: 1. омонимия неразложимого и разложимого словосочетаний и 2. омонимия, возникающая из-за неоднозначного определения области действия оператора.

1. Следующие типы неразложимых словосочетаний могут быть омонимичны разложимым:

а) Словосочетания, рассмотренные в пункте Г1 § 2. Например, выражение *таблица допустимых размеров* имеет (по меньшей мере) два значения: «Таблица, в которую сведены допустимые размеры (чего-то)» и «Таблица, размеры которой допустимы». При первом значении словосочетание *допустимых размеров* разложимо (соответствующее предложение $Q \approx$ «Таблица состоит из допустимых размеров» синонимично предложению «Таблица состоит из размеров, и размеры — допустимые»), при втором — неразложимо. (С этим связан тот факт, что словосочетание *таблица размеров* осмысленно только при первом толковании.) Первому значению отвечает структура

таблица допустимых размеров

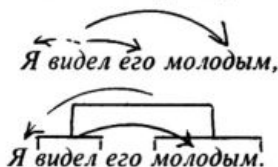
второму —

таблица допустимых размеров

б) Словосочетания пункта Г2 § 2. Например, предложение *Я видел его молодым* может означать либо «Я видел его таким образом, что он представлялся мне молодым» (например, видел в своем воображении), либо «Я видел его, когда он был молодым». При первом значении между *видел* и *молодым* имеется семантическое отношение «отождествления» или глубинно-синтаксическое «второе пвъектное» (как в предло *Я считал его молодым*); словосочетание *еор дел... молодым* в контексте *видел его моло жени* ионизиимо³⁷, т. к. предложениизл

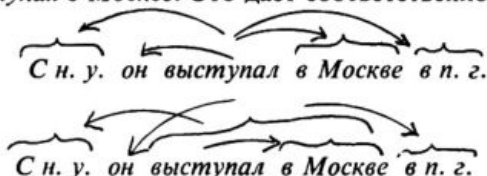
Q = «Тот, кого некто видел молодым — он» синмично предложению «Тот, *дым* кого некто видел — он, и качество, обнаруженное при видении — молодость». При втором значении между *видел* и *молодым* нет семантического или глубинно-синтаксического отношения, и словосочетание *видел ... молодым* в контексте *видел его молодым* неразложимо.³⁷ Первому значению отвечает ССГ

второму —



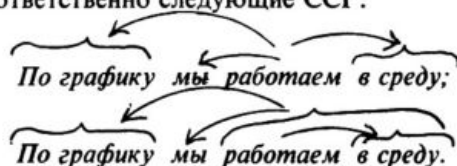
в) Словосочетания пункта Г11 § 2. Например, предложение *С наибольшим успехом он выступал в Москве в прошлом году* может означать либо «Среди всех его выступлений наибольший успех имело прошлогоднее, происходившее в Москве», либо «Среди всех его выступлений в Москве наибольший успех имело прошлогоднее». При первом значении относительно-характеризующее словосочетание *с наибольшим успехом* подчинено слову *выступал*, во втором — словосочетанию *выступал в Москве*. Это дает соответственно структуры

и



Замечание. Омонимия этого типа, по-видимому, невозможна, если корень словосочетания — существительное, поскольку в таком случае разложимое словосочетание отличается от неразложимого наличием паузы (см. замечание на стр. 59); ср. *второй рассказ, о собаках* (словосочетание *рассказ о собаках* разложимо) и *второй рассказ о собаках* (словосочетание *рассказ о собаках* неразложимо).

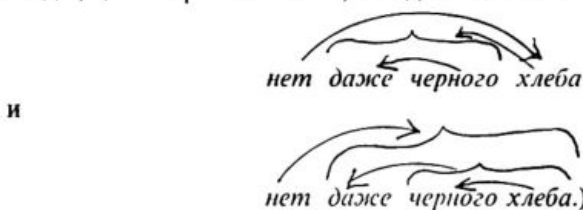
г) Словосочетания пункта Г13 § 2. Например, предложение *По графику мы работаем в среду* может означать либо «Так, как предписывает график, мы работаем в среду (а в другие дни — не так, как он предписывает)», либо «График предписывает нам работать в среду (а не в другие дни)». При первом и втором значениях имеем соответственно следующие ССГ:



2. Из операторов, служащих вторыми компонентами операторных контекстов, различное толкование областей действия могут допускать отрицание *не* и субъективно-модальные частицы (видимо, *не* любые). В § 1 мы уже приводили

³⁷ Так же как и в контексте *Я видел ... молодым*.

в качестве примеров словосочетания *написано не красными чернилами и нет даже черного хлеба*. (Разбор первого из этих словосочетаний приведен на стр. 11, второе может означать либо «нет никакого хлеба, даже черного», либо «нет никакой еды, даже черного хлеба», что дает соответственно структуры



Еще один пример: предложение *Я вижу только два дерева* может означать либо «Я вижу два дерева и не вижу других деревьев», либо «Я вижу два дерева и больше ничего». Первому смыслу отвечает ССГ



(где *только два* — количественный квантор), второму —



Для кванторных слов, союзов, указательных местоимений неоднозначное толкование областей действия, как кажется, невозможно.

§ 5. Заключительные замечания

1. Подытожим теперь основные содержательные особенности нашего способа описания синтаксической структуры предложения. Как уже отмечалось, нашей целью было построение способа, совмещающего строгость и единообразие формальных описаний с гибкостью традиционных. При этом главным недостатком существующих формальных описаний нам представлялась их односторонность: они либо игнорируют словосочетания как самостоятельно функционирующие единицы, либо, напротив, сводят синтаксическую структуру к набору словосочетаний, игнорируя синтаксические связи. Наш способ от такой односторонности свободен, в нем словосочетания и синтаксические связи присутствуют как независимые составные части. Самое важное следствие этого — большая естественность описания. Снимаются, например, такие не связанные с лингвистическими реальностями «проблемы», как «Чему подчинено слово *потерял* в предложении *Я нашел книгу, которую ты потерял* — слову *книгу* или слову *которую?*» или «Какое слово является главным в предложении *Veni, vidi, vici?*» — и при этом не приходится ни отказываться от использования синтаксического подчинения там, где оно релевантно, ни дополнять аппарат различными конструкциями *ad hoc*.

Следующая особенность наших описаний по сравнению с деревьями подчинения и системами составляющих — бóльшая «семантическая разрешающая способность», т. е. бóльшая зависимость от смысла. Это, на наш взгляд, преимущество: ведь синтаксическая структура, какими бы средствами мы ни пользовались для ее представления, всегда в конечном счете определяется смыслом и предназначается для того, чтобы помочь нам понять механизм выражения этого смысла в данном предложении; и чем полнее структура отражает смысл, тем лучше она выполняет свою задачу. На это могут возразить, что поверхностное синтаксическое описание не должно зависеть от смысла «слишком сильно» — в противном случае оно вторгается в чужую область глубинного синтаксиса, и автор его может быть обвинен в смертном грехе смешения уровней. Чтобы очиститься от столь тяжкого обвинения, следует заметить, что любое определение поверхностной синтаксической структуры должно прежде всего быть объективным, а потому оно не может опираться ни полностью, ни частично на степень зависимости от смысла, поскольку объективных способов оценивать эту зависимость у нас нет. Если присмотреться к тому, в какой мере отражается смысловое строение предложения в описании с помощью дерева подчинения или системы составляющих, нетрудно заметить, что оно отражается в точности настолько, насколько позволяет используемый аппарат. Точно так же обстоит дело и для нашего аппарата — только он позволяет больше.

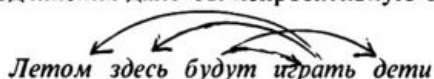
Замечания 1. Мы считаем, что разумнее всего понимать поверхностное синтаксическое описание как такую структуру, основное множество которой представляет материальное предложение с точностью до внутреннего строения слов — иначе говоря, состоит из словоформ и сведений об их линейном расположении. Наше описание именно таково. В принципе ничто не мешало бы дополнить его введением пометок на дугах графа (С, →); вопрос о целесообразности такого дополнения мы обсуждать не будем.

2. Ранее, в статье [Гладкий — Мельчук 1974], автор отдал дань другому пониманию поверхностной синтаксической структуры. В рассмотренных там ПСС («поверхностно-синтаксических структурах») основное множество состоит из характеризованных лексем, отличающихся от словоформ отсутствием тех грамматических категорий, которые могут быть восстановлены по синтаксическим связям, и не включает сведений об их линейном расположении. Безусловно, такие структуры имеют право на существование, однако признание их новерхностными означает отказ от рассмотрения «более поверхностных» структур, в частности, таких, в которых принимается во внимание линейный порядок; а это неправильно, т. к. совместное рассмотрение синтаксических связей и линейного порядка позволяет узнать много поучительного о строении предложения (достаточно вспомнить о проективности — подробнее о ней см. ниже).

Еще одна характерная черта описаний с помощью ССГ состоит в том, что они могут зависеть от актуального членения: например, предложения *Иван любил гулять в лесу* и *В лесу любил гулять Иван* описываются по-разному. Опять-таки это происходит просто-напросто оттого, что наше описание дает средства учитывать актуальное членение, в то время как деревья подчинения таких

средств не дают³⁸ Мнение, что синтаксическая структура вообще «не должна» зависеть от актуального членения, представляется нам совершенно необоснованным: актуальное членение есть часть смысла предложения, и непонятно, на каком основании одним частям смысла можно разрешить влиять на синтаксическую структуру, а другим нельзя. В действительности — подчеркнем еще раз — каждый способ описания отражает из смысла столько, сколько может отразить.

Наконец, чрезвычайно существенной особенностью систем синтаксических групп является заложенная в самом их определении «универсальная проективность». Нам представляется, что значение открытого около 20 лет назад закона проективности все еще не оценено по достоинству. После пионерских исследований конца 50-х и начала 60-х годов появился ряд работ, в которых указывались многочисленные случаи нарушения этого закона, но попыток как-то проанализировать природу этих нарушений и установить их причины, насколько известно автору, не делалось. Между тем можно заметить, что в предложениях «нейтрального стиля» — без эмфатического выделения отдельных элементов и без какой-либо специфической стилистической нагрузки — непроективность едва ли не всегда связана с наличием в предложении некоторых «кусков», функционирующих как единое целое, причем внутри этих кусков имеются свои синтаксические связи; поскольку аппарат деревьев подчинения не позволяет рассматривать такие куски как цельные элементы структуры, приходится их «рассыпать» и механически объединять «внутренние» связи с «внешними» в одно дерево, что и ведет к непроективности. [См. хотя бы пример (4), где описание с помощью дерева подчинения дало бы непроективную структуру



— ввиду необходимости «рассыпать» составное слово *будут играть*. Дальнейшие примеры см. в особенности в пунктах Г3 и Г10 § 2, а также в § 3.] Таким образом, непроективность обусловлена здесь не природой вещей, а несовершенством аппарата. Что же касается эмфатического выделения того или иного элемента предложения, то особенность нашей трактовки этого явления состоит, грубо говоря, в следующем: мы считаем, что наличие выделенного элемента может оказывать воздействие на синтаксическую структуру предложения, приводя к образованию «синтаксической коалиции» некоторых (невыведенных) элементов; с этой коалицией и соотносится выделенный элемент, вместо того чтобы соотноситься с одним из ее членов, как было бы при отсутствии эмфазы³⁹. Подобные «синтаксические коалиции» интуитивно ощущаются весьма ясно;

³⁸ Описание с помощью систем составляющих в какой-то мере могло бы также позволить учитывать актуальное членение в случаях, подобных только что приведенному примеру. Но, насколько известно автору, системы составляющих для систематического описания русского языка не использовались.

³⁹ Это не распространяется, правда, на интонационное выделение. Но можно, по всей вероятности, видоизменить нашу процедуру анализа (пункт 10 § 1) так, чтобы она охватывала и этот случай.

поэтому такая трактовка представляется нам более естественной, чем общепринятая, при которой никакая связь между эмфазой и синтаксической структурой считается невозможной. Именно с этой особенностью связана отмеченная выше возможность учитывать в синтаксической структуре актуальное членение. Примеры см. в пунктах Г4, Г5, Г6 § 2 и в § 3⁴⁰.

Ярем он барщины старинной оброком лёгким заменил,

где выделено *барщины старинной, и*

Или разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц,

где выделено *перстами робких учениц*.

Остаются непроективности, связанные со специфической смысловой нагрузкой, в особенности в языке художественной литературы. Этот случай очень мало изучен. Предварительно можно предположить, что если не рассматривать те из непроективностей этого типа, которые относятся одновременно и к предыдущему случаю, т. е. связаны с эмфатическим выделением, то все оставшееся будет, скорее всего, либо относиться к сфере разговорной речи, подчиняющейся вообще иным законам, чем литературная, либо принадлежать к поэтической речи «высокого стиля», также имеющей свои особые нормы. В обоих случаях возможны «синтаксические разрывы», которые и отражаются в «необычных» ССГ⁴¹.

Приведем несколько примеров «разорванных структур».

а) Разговорный стиль:

1. *На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась...*
2. *Какой-то смолоду Скворец
Так петь щегленком научился...*
3. *Иной бы был такой доволен честью...*

б) «Высокий» стиль:

1. *Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя.*
2. *Как долго ждал во мраке я ночном!*
3. *Ты первый,*

Святой отец, свою поведай мысль.

Замечания. 1. Разумеется, оба эти стиля совместимы с наличием выделенных элементов, например:

⁴⁰ Ср. также

⁴¹ Возможно, впрочем, что в стихотворном тексте «синтаксические разрывы» (так же, как постановка постпозитивных определений в препозиции и наоборот, изменение ударения и т. п.) в ряде случаев могут быть обусловлены только ритмической структурой стиха.

И волчью вашу я давно натуру знаю

или

*А между тем небесной благодати
Таи в душе, царевич, семена⁴².*

2. Описанная в пункте 10 § 1 процедура построения ССГ допускает и такой исход, когда предложению не приписывается никакой ССГ из-за невозможности согласовать «неформальные» синтаксические связи с аксиомами проективности. Однако пока нам не встретилось примеров с таким исходом.

2. В заключение вспомним о двух теоремах из первой части этой работы [Гладкий 1971], утверждающих, что ССГ можно «обогащать» добавлением поддеревьев графа (S, \rightarrow) в качестве новых СГ с соответствующей передачей синтаксических связей (утверждение 3), причем, если исходная ССГ — сильная, то «обогащенная» тоже будет сильной (утверждение 6). Теперь, располагая довольно большим числом примеров, мы можем заметить, что практически всегда, когда предложение допускает сколько-нибудь естественное описание с помощью проективного дерева подчинения, строящаяся для него с помощью нашей процедуры ССГ представляет собой «обогащение» этого дерева в указанном смысле.

В первой части работы была отмечена также необратимость утверждения 3: не всегда можно выбросить из ССГ даже одну СГ с соответствующей передачей связей так, чтобы снова получилась ССГ. Утверждение 6 в некотором слабом смысле обратимо: из сильной ССГ (СССГ) можно получить другую СССГ, изъяв из нее некоторую СГ E и передав связи этой СГ ее компонентам следующим образом: 1. пассивная связь E (если она есть) передается корню одной из связанных компонент E ; 2. Если $E \rightarrow F$, то F передается «под управление» той компоненты E , которой принадлежит ближайшая к F слева или справа точка E , причем, если F_1 и F_2 принадлежат одной компоненте дополнения E , $E \rightarrow F_1$, $E \rightarrow F_2$, F расположена левее F_2 и F_2 передана под управление компоненты E , лежащей слева от F_1 и F_2 , то F_1 должна передаваться под управление той же компоненты. Но далеко не всегда такой способ передачи связи лингвистически релевантен чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть примеры пунктов ГЗ—Г6 § 2 не говоря о примерах из § 3. Таким образом, подтверждается замечание из первой части о том, что утверждения 3 и 6 имеют существенное лингвистическое значение, в то время как обращение утверждения 6 такого значения не имеет*.

⁴² Всего в «Борисе Годунове» 19 «непроективностей»; из них 5 «нейтральных», т. е. не зависящих от стиля (пример:

*Кто чувствами в порочных наслаждениях
В младые дни привыкнул утонать. . .)*

и 11 связанных с эмфатическим выделением. Из 14 «стилистических непроективностей» 8 содержатся в сцене в царской думе, 3 — в сцене у фонтана.

* Автор пользуется случаем поблагодарить К. И. Бабицкого, беседы с которым послужили решающим толчком для оформления основных конструкций этой работы, и участников руководимого Ю. Д. Апресяном лингвистического семинара за их чрезвычайно полезную критику.

Литература

- Бабицкий 1967 — Бабицкий К. И. О видах сложности предложений. — Научно-техническая информация, сер. 2, 1967, № 11, 42—54.
- Гладкий 1969 — Гладкий А. В. Об описании синтаксической структуры предложения. — *Computational Linguistics*, VII, Budapest, 1969, 21—44.
- Гладкий 1971 — Гладкий А. В. Описание синтаксической структуры предложения с помощью систем синтаксических групп. I. Формальный аппарат. — Научно-техническая информация, сер. 2, 1971, № 9, 35—38.
- Гладкий—Мельчук 1974 — Гладкий А. В., Мельчук И. А. Грамматики деревьев. II. К построению Δ -грамматики для русского языка. — Сб.: «Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода», вып. 4, М., 1974, 4—29.
- Грамматика 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
- Жолковский—Мельчук 1967 — Жолковский А. К., Мельчук И. А. О семантическом синтезе. — Сб.: «Проблемы кибернетики», вып. 19, М., 1967, 177—238.
- Мельчук 1974 — Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл \leftrightarrow Текст». Семантика, синтаксис. М., 1974.
- Падучева 1973 — Падучева Е. В. О семантике синтаксиса (материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1973.
- Шведова 1964 — Шведова Н. Ю. Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения. — *Вопросы языкознания*, 1964, № 6, 77—93.
- Шведова 1968 — Шведова Н. Ю. Существует ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения? — *Вопросы языкознания*, 1968, № 2, 39—50.
- Quine 1975—Quine W. V. The Variable.—In: *Logic Colloquium*. ed. by R. Parikh. *Lecture Notes in Mathematics*, 453, Berlin—Heidelberg—N.—Y., 1975, 155—168.

**Отрицание и конструкции с числительными в современном
русском языке**

Л. ХУНЯДИ

1. Сравним следующие три предложения:

- (1) В доме два стола.
- (2) В доме столов пять.
- (3) (В доме) столов — пять (а стульев — четыре).

Данные предложения одинаковы в том, что в каждом из них имеется количественный оборот (конструкция с числительным), точнее, имеется существительное, синтаксически связанное с числительным. Данные предложения не одинаковы в том, что, во-первых, одно и то же существительное выступает в разных предложениях в разных подежах и, во-вторых, предложение (3) имеет факультативный элемент в доме. В дальнейшем мы постараемся построить модель конструкций с существительными в родительном подеже, с помощью которой можно выяснить причины сходства и различия между нашими предложениями.

Как видно, в трёх предложениях выступают необязательно одинаковые числительные. Сравним предложения так: выпишем к каждому из них все возможные числительные без перестановки частей предложений:

- (1) В доме один стол.
В доме два (три, четыре) стола.
В доме пять (шесть, ...) столов.
- (2) В доме стола два (три, четыре).
В доме столов пять (шесть, ...).
- (3) (В доме) столов — один (два, три, четыре, пять, шесть, ...).

При этом появляются более чёткие различия между тремя типами предложений. На основе наличия или отсутствия факультативной части предложения группируются в две основные группы: в предложениях (1) и (2) числительное выступает в качестве определения, а в предложении (3) в качестве сказуемого.

Легко убедиться в том, что (2) — не что иное, как развёрнутый вариант конструкции типа (1) с числительным в роли определения¹.

Дальше разбирая конструкции с числительными, мы увидим, что типы (1) и (2) принимают родительный подеж обоих чисел, а тип (3) только родительный подеж множественного числа². Рассмотрим скрытые причины этого явления.

Напишем предложение (3) со всеми возможными числительными: (В доме) столов — один (два, три, четыре, пять, шесть, . . .). Предполагая, что в предикативной функции может выражаться любое не-негативное количество, туда включается и 'ноль'. Заменяем числительные нолём: (В доме) столов — ноль. Поскольку 'ноль' имеет языковую форму нет, данное предложение можно написать и так: (В доме) столов — нет. Поскольку таким образом это предложение включается в систему выражения не-негативных количеств, можно обойтись без довольно сложной трансформации отрицания в сказуемом. На основе нашей трактовки нет в функции определения так же выражает количество, как числительные пять, шесть, сто и т. д., с одной стороны, (для выражения точного количества) и много, мало, несколько (для выражения неточного количества) с другой. Нет входит в предыдущую группу и выражает точное количество: ноль. Следовательно, языковая система, выражающая количество в основном логическом распределении станет полной.

2. Если, на основе вышесказанного, выявим, что в предложении Столов нет родительный подеж выступает не как показатель отрицания, тогда в соответствующем не-отрицательном, то есть утвердительном предложении должен был бы быть также родительный подеж: *Столов было. *Столов есть. *Столов будет. Но так как и утверждение не может быть обязательным показателем именительного подежа (ср. Столов — пять), видим, что оппозиция род. п./им. п. не соответствует оппозиции утверждения/отрицания. Оппози-

¹ Разница в том, что в типе (2) числительное *один* не выступает. Но то, что конструкции (1) и (2) всё же не вытекают из разных исходных конструкций, объясняется тем, что изменение порядка слов — как любое изменение — выполняет определённую различительную функцию, но — в данном случае — без существенного семантического или грамматического изменения. Ведь положение числительного, выражающего функцию определения, за существительным выражает не что иное, как 'приблизительность': бва стола (точное количество), стола два (прилизительное количество). Однако, числительное *один* в предложениях типа (2) не выступает в том числе и в постпозиции из-за того, что здесь речь идёт не о такой инверсии. Слово-сочетанию два стола в общем случае соответствует выражение стол (инверсия которой будет также стол), ведь *один* может только подтвердить указанное количество, следовательно, неточность, 'приблизительность' это числительное выражать не может. ('Приблизительность' в таких случаях выражается конструкцией «с+вин. п.»: Мы постояли с минуту.)

² Разумеется, только в тех случаях, когда существительное вообще может иметь формы множественного числа. Ведь нпр., в предложении Воды нет существительное может стоять только в единственном числе (ср. вещественные, отвлечённые, единичные существительные). Для того, чтобы модель была более чёткой и завершённой, мы считаем целесообразным трактовать это явление как исключение из правила.

ция, которая соответствует подежной оппозиции, это — оппозиция количества/не-количества.

Хотя предложения типа *Столов было не допускается, родительный подеж при субъекте без связи со словами, выражающими количество всё-таки встречается. Это подтверждается и примером Р. Якобсона, согласно которому предложение Людей собралось отличается от предложения Люди собрались именно тем, что родительный подеж (в отличие от именительного подежа) при субъекте выражает количество (ср. Jakobson, стр. 40).

Нельзя забывать о том, что здесь играет значительную роль и интонация. Предложения с родительным подежом субъекта должны выражать какое-то удивление со стороны говорящего. В таком понимании и предложения Столов было! и Столов будет! принимаются правильными, тогда как *Столов есть! и в такой форме остаётся неправильным. Причина этого заключается именно в том, что в то время как есть без дополнения должен быть коммуникативным центром предложения, таким же центром является и существительное в родительном подеже субъекта; и так как они оба не могут одновременно заполнять одну и ту же позицию, столов и есть в данном предложении несовместимы. Итак, для выражения удивления касательно имеющегося количества столов в настоящем времени служит предложение Столов! (Предложения с полнозначными глаголами возможны и в настоящем времени, хотя при выборе глагола нужно сильно учитывать и семантику данного глагола: Яблок созревает!, Людей набивается!)

Наше правило можно сформулировать следующим образом: если утверждается какое-нибудь количество предметов или лиц, выступающих в качестве субъекта (и таким утверждением может быть и отрицание какого-нибудь количества, как Столов было не пять, а . . .), тогда родительный подеж субъекта выражает количество (и точное и неточное); если же утверждается не количество (значит, если утверждается наличие предмета или лица в качестве субъекта), тогда существительное, выступающее в такой функции, будет стоять в именительном подеже. (Нужно отметить, что Якобсон в упомянутой работе также устанавливает связь между употреблением родительного подежа и функцией выражения количества. Но, однако, согласно Якобсону, функция родительного подежа состоит в том, чтобы продвинуть количественное участие субъекта в действии к негативному полюсу (см. там же, стр. 38—39), здесь мы видим, что 'количественное участие' не достигает негативного полюса, а тем более точку 'ноль').

То, что наше определение необратимо, т. е. что оно не обозначает, что родительный подеж при субъекте обязательно выражает какое-нибудь количественное отношение субъекта, подтверждается следующим примером: Хлеба нет дома (количество) — Его нет дома (не-количество). Различие в этом отношении двух предложений обуславливается различием семантических классов, в которые входят данные предложения. Тогда как хлеба (и столов и др.) выражает класс денотата, его имеет индивидуализованное (конкретное) значение и, следовательно, не может указывать ни на какой класс. Таким образом выше приведённые примеры совпадают только формально. Это и логично, ведь

тогда как верно, что количество 'ноль' можно выражать конструкциями не+V+N_{gen} или нет+N_{gen}, вполне возможно, что нет+N_{gen} выражает и что-нибудь другое (и то, что двусмысленность можно избежать, доказывает и содержательное различие: класс/не-класс).

3. На основе всего сказанного возникает естественный вопрос: в конце концов какие же языковые формы выражают собственно отрицание? — Поскольку мы видели, что в подлежащем это невозможно, их можно обнаружить только в сказуемом. Сравним два следующих предложения:

(4) Я не вижу карандашей.

(5) Я не вижу карандаши.

Оппозицию винительного и родительного падежей существительного в прямом дополнении отрицательных предложений детально анализирует А. Тимберлейк, который на основе теории Якобсона (ср. там же, стр. 130—147) устанавливает, что чем более индивидуализован объект, тем менее вероятно, что он будет стоять в родительном падеже. (Относительность определения объясняется тем, что в основном наблюдается процесс стирания различий в обиходе между формами прямого дополнения в винительном или родительном падеже.)

Подобно этому, предложение (4) выражает неопределённость, а (5) — определённую (индивидуализованность, т. е. конкретизированность) таким образом, что (4) обозначает объективное отсутствие существования ('карандашей — ноль'), а (5) даёт информацию лишь о субъективном отсутствии существования ('карандашей есть несколько'). (О подобном распределении существования см. Lobanova, стр. 200—205.) Из отсутствия существования следует, что по сути дела с точки зрения действия предложение (4) является утвердительным, т. е. действие было полностью проведено субъектом, ведь лишь в этом случае может быть выражено действительное отсутствие какого-либо объекта, в то время как (5) считается с точки зрения действия отрицательным предложением именно потому, что мы только тогда не вступаем в контакт с объективно существующим объектом, если действие, направленное на данный объект, не проводится полностью. Таким образом (4) и (5) получают следующие интерпретации:

(4) Я не вижу карандашей. = (6) Я вижу, что нет карандашей.

(5) Я не вижу карандаши. = (7) (Я не вижу, что есть карандаши.)

Я не вижу существующие карандаши.

Из наших примеров следует, что (4) восходит к количественному обороту (6), т. е. не может быть отрицанием, в то время как (5) получается из конструкции (7), отвечающей критериям отрицания (исключает правильность одного и единственного утверждения).

В виду того, что оппозиции вин. п./род. п. прямого дополнения соответствует оппозиция определённости/неопределённости и также соответствует оппозиция не-количества/количества, можем построить и следующую оппозицию: не-количество/количество :: определённый/неопределённый. Последняя оппозиция звучит так: количественный оборот не выражает определённости, а определённый выражается только не-количественными оборотами. Всё это требует пересмотра понятия определённости. При таком подходе определённым

будет считаться объект, выражающий класс денотатов, обозначаемых им полностью, без деления³.

4. Любопытно, что предложение (8), хотя и выражает количество, не включается прямо в парадигму (3):

(8) Мать — только одна.

Это 'исключение' объясняется самим характером родительного (множественного) при субъекте: здесь родительный подеж, кроме того, что указывает на количество, подчёркивает ещё и возможность количества более одного. А поскольку у каждого человека может быть только одна мать, в (8) существительное в подлежащем не должно выступать в родительном подеже.

5. Суммируя итоги настоящей работы: выражением количества, обозначаемого именным сказуемым, в современном русском языке служат следующие конструкции:

а) если утверждение о количестве более одного возможно:
(NP/N_{gen}) + VP, где VP {

один, два, три . . .
нет, не было, не будет
V (3. л. ед. ч. наст. вр., ср. род прош.
V _{neg} вр.)
V _{neg} (в любой форме)
N (не единичное)

б) если утверждение о количестве более одного невозможно:

i. (NP/N_{nom sing}) + VP, где VP {COP + один}

ii. (NP/N_{gen sing}) + VP, где VP {нет не было, не будет}

В настоящей работе нами была построена модель конструкций с существительными в форме родительного подежа, позволяющая заключить, что а) не любая форма родительного подежа зависит от существующего в предложении количественного оборота; б) не все предложения с частицей *не* являются отрицательными; в) в систему выражения точных количеств нужно включить и выражение 'ноль'; г) наблюдается оппозиция двух основных оппозиций: количества/ не-количества и неопределённости/определённости; д) в свете этого категория определённости получает более точное определение.

Основные выводы наглядно продемонстрированы на прилагаемой блок-схеме.

Блок-схема различения отрицания, утверждения и выражения количества 'ноль'

³ Тот факт, что 'количество' и 'определённость' — это две взаимно исключающие категории (то есть, находящиеся в оппозиционном отношении) подтверждается и оппозицией объектного и безоъектного глагольного спряжения в венгерском языке, в котором имеется пара оппозиций безоъектная форма/объектная форма :: количество/определённость.

Литература

Jakobson R., Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, in: Selected Writings II. Mouton, 1971, 23-71.

Lobanova N. A., Semantic differentiation among negative sentence variants, in: *Slavic and East European Journal*, vol. 19, no. 2, 1975, 200-204.

Timberlake A., Hierarchies in the genitive of negation, in: *Slavic and East European Journal*, vol. 19, no. 1, 1975, 123-139.

Die Erscheinungsformen des Patriotismus in der „Erzählung“ Avraamij Palicins

E. IGLÓI

Eines der wichtigsten Kennzeichen der alten russischen Literatur, wodurch ihr Wert bestimmt wird, ist ihre patriotische Gedankenwelt, die sich in der Pflege des allrussischen Gedankens, in der Forderung des fürstlichen Zusammenhalts, in der Idealisierung der Verbindung Fürst-Druschina, in der hymnischen Lobpreisung der heldenhaften Selbstaufopferung, in der Erhebung der kollektiven Interessen über die individuellen sowie in dem Bewußtmachung der allrussischen politischen Mission des in der veränderlichen Zeit gerade gegebenen politischen Zentrums (Kiew, Nowgorod, Wladimir, Twer, Moskau) äußert. Der frühfeudalistische russische Patriotismus konnte in den kritischen Perioden der Geschichte, als das Land von äußerer Gefahr bedroht war, zu einer wirksamen moralischen Kraft werden: er forderte die Vereinigung der Kräfte, und verwirklichte sie sogar. So konnte der Durchbruch der gesamtrussischen Interessen gewährleistet werden. Diese elementare, episch majestätische Offenbarung des Patriotismus in den literarischen Denkmälern unterschätzt nicht einmal die die Gesellschaft spaltenden sozial-wirtschaftlichen Gegensätze. Die provisorische Auflösung oder Linderung solcher Gegensätze drängen den Schriftsteller umso ungeduldiger, je größer die Hindernisse bei der Schaffung der gesamt-nationalen Einheit sind, wenn dem Staat und dem Volk irgendeine Gefahr droht. Die wertvollsten ästhetischen und idealen Werte der alten russischen Literatur sind die Denkmäler, die die gesellschaftlichen Erscheinungen und auch die verstandesmäßig nicht, gefühlsmäßig aber dennoch erfaßten gesellschaftlichen Widersprüche den Interessen von Rußland unterwerfen und sie so analysieren und werten, und deren Gesellschaftskritik im Bangen um das Vaterland wurzelt. Einen primären Patriotismus dieser Art strahlen die „Belehrung“ von Wladimir Monomach, das Igorlied, die Erzählung über das Zugrundegehen von Rjasan, der Kulikowoer Zyklus, und viele Erzählungen und publizistische Denkmäler kämpferischen Inhaltes aus. Die Denkmäler der frühfeudalistischen russischen Kultur, die den allrussischen Gedanken pflegen und bestärken, stellen die dichterischen Dokumente des primären Patriotismus dar, der das Volk bereichert und den russischen Staat vor allen Gefahren hütet.

In der Zeit der Zentralisierung des Staates der Verstärkung der Leibeigenschaft, am Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert wird der Kampf innerhalb

der herrschenden Klasse als auch zwischen den Klassen immer schärfer. Die Modifizierung des Inhaltes des Patriotismus wird zu dieser Zeit in erster Linie von dem Zentralisierungsprozeß beeinflußt. Allmählich verschwindet das frühere heldenhafte Ideal des Patriotismus, der ausschließlich sein will, und einen offenen Klasseninhalt hat. Stimmt das Klasseninteresse mit der Entwicklungstendenz der Gesellschaft überein, und ist zugleich auch das Interesse der Gesamtnation, so ist die moralische Zuverlässigkeit des Patriotismus nicht fragwürdig; selbst dann nicht, wenn er weder der freien Wahl noch der Geltendmachung des freien Willens weites Feld bietet. Das Wesen der „Patriotismus-Theorie“, die am eingehendsten — jede andere Alternative von vornherein ausschließend — von Iwan dem IV. formuliert wurde, besteht im bedingungslosen Gehorsam und in der Treue zum Zaren, der Alleinherrscher der Vollmacht ist, und der über das Leben aller Prawoslawen verfügt. Der legitime Zar ist das Symbol des russischen prawoslawen Staates, die Verkörperung all dessen, was russisch ist. Der Patriotismus ist die völlige Auflösung in der Treue zum Zaren, er ist das freiwillige Bekenntnis zur „Untertanensklaverei“. Gerät jemand mit dem Willen des Zaren, d.h. mit dem zentralen staatlichen Willen in Konflikt, begeht er Vaterlandsverrat. Die geschichtlich notwendige und deshalb progressive Zentralisierung, und die die Zentralisierung regierende zarische Alleinherrschaft wählen nicht in den Mitteln bei der Realisierung der politischen Zielsetzungen. Die Macht ist Gewalt, die Gewalt äußert sich gewaltsam, sie weckt Angst, und zwingt zum Gehorsam. In dem zentralisierten Staat hat der Patriotismus eindeutig einen Klasseninhalt, aber zugleich ist er eine gesamtstaatliche „ärarische“ ideale Erscheinung. Er kann aufrichtig oder geheuchelt sein, er ist aber in jedem Fall eine Pflicht für die Untertanen. Sein Gradmesser ist das Verhältnis zum Zaren, und er kennt keine Alternative. Sein Fehlen ist schon selbst Verrat.

Zu einer unterschiedlichen Interpretation des Patriotismus bietet die russische Geschichte erstmals und übergangsweise zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine Zwangslösung, als es nämlich einen von Gott „selbten“ rechtlich anerkannten Zaren gibt, als die Meinungen der Parteien und Schichten über den Thron und die Macht habenden Herrscher geteilt sind. Die Möglichkeit zur Wahl und der Zwang zur Entscheidung drängen zugleich zur entschloßenen Parteinahme. Der Grund für die Treue oder Untreue zu dem eben herrschenden Zaren ist kein abstrakter Patriotismus oder ein Mangel an Patriotismus, sondern ein vernünftig erwogenes persönliches Gruppen- oder Klasseninteresse. In der reichen historischen Publizistik der Smuta-Zeit finden wir kein Denkmal, dessen Verfasser seine politischen Ansichten, das Programm und die Geschichtsauffassung der im Hintergrund stehenden Partei zu verheimlichen versucht. Aber warum sollten die Schriftsteller Geheimnisterei spielen? Wird doch jede ihrer Zeilen von den Interessen bestimmt, die im Klassenkampf und im Kampf innerhalb der herrschenden Klasse zusammenstoßen? Der Patriotismus oder was man dafür hält, wird in der größeren Periode der Smuta-Zeit zum Mittel der Manipulation, und bietet Alternativen. Unter diesen Umständen — bis zum zweiten Volksaufstand — ist man gezwungen, das in den literarischen-publizistischen Denkmälern der Smuta-Zeit als patriotisch geschilderte Verhalten mit Vorbehalt zu behandeln; es soll eingehend untersucht werden, inwieweit das sich aus den Klasseninteressen ergebende Verhalten mit den gesamtrossischen In-

teressen zu vereinbaren ist. Bei einer Untersuchung solcher Art ist festzustellen, daß der aufrichtige, der das allrussische Interesse vertretende Patriotismus nur in Ausnahmefällen (z. B.: in „Новая повесть“) erscheint. In allen anderen Denkmälern, wo er sich zweifellos zeigt, muß er mit dem wertmindernden Attribut „sekundär“ versehen werden, weil er primär von den Klassen- und Privatinteressen determiniert ist.

Im weiteren suchen wir die alternativen Erscheinungsformen des Patriotismus oder die der als patriotisch geschilderten Idealität und Erscheinung in dem bekanntesten Denkmal der Wirren Zeiten, in der „Erzählung“ Avraamij Palicins.¹

Die „Erzählung“ Avraamij Palicins besteht aus drei zusammenhängenden historischen Skizzen, bzw. kämpferischen Erzählungen.

Der erste Teil (1—6. Kap.) gibt eine analytische Übersicht über die Smuta-Zeit; der zweite und längste Teil (7—52. Kap.) ist die Geschichte von Sturm des Troici—Sergejev—Klosters; der dritte Teil folgt den dazwischengeschobenen selbständigen Kapiteln, und befindet sich im 65—70. Kapitel. Dies ist eine berichtende Erinnerung an die Vertreibung der Polen aus Moskau, an den Volksaufstand. Das Ende der „Erzählung“ (71—81. Kap.) ist nicht mehr ausgearbeitet und blieb ein Torso; es versucht über die Wahl des Zaren Michail zu berichten, und die Ereignisse der darauffolgenden Periode bis 1619 zu überblicken. Hinsichtlich des Gegenstandes unserer Untersuchung können drei beendeten historischen Skizzen und Erzählungen interessant sein. In diesen zusammengefügtten selbständigen Werken ist der Patriotismus gegenwärtig, er äußert sich aber auf verschiedene Art, mit anderem Schwung, anderer Heftigkeit und anderem Wert. Palicin ist natürlich der Befürworter der herrschenden Klasse. Er leistet aber keiner Gruppe oder Partei der für die Macht streitenden geteilt herrschenden Klasse Dienste. Nur bei der Formulierung des endgültigen Textes der „Erzählung“ sucht er, sich die Smuta-Konzeption der Romanows anzueignen, und als treuer Untertan die Gnade der neuen Dinastie zu gewinnen (dies war im übrigen hoffnungslos). Palicin vertritt die Interessen des Troici—Sergejev—Klosters, das innerhalb der prawoslawischen Kirche eine besondere geistige, wirtschaftliche und politische Macht inne hat. Dieser einseitige und nur die Interessen des Klosters und der eigenen Person vor Augen habende Standpunkt bestimmt den Inhalt des Patriotismus des Schriftstellers von vornherein. Dies kann aber nur in dem zweiten und umfangreichsten Teil der „Erzählung“ beobachtet werden. Warum schicken wir diese Bemerkung voraus? Weil der Schriftsteller 1—6. Kapitel in der Untersuchung der Ursachen der „Smuta“ tiefer gräbt als all seine Zeitgenossen, weil er für den Bauernkrieg und noch davor für den vorübergehenden Erfolg des Abenteurers Grischka die russische herrschende Klasse selbst verantwortlich macht.² Er setzt keine Unterschiede zwischen Bojaren und Adligen, kirchlichen und weltlichen Größen: sie sind alle zusammen Schuldige. Ihr moralischer Sumpf, ihre Machtbegier, ihre maßlose Ungerechtigkeit, ständige Streitigkeit, Zerstrittenheit, sind die Ursachen für die Auflösung der „gesellschaftlichen Ordnung“ (zu verstehen als die von Iwan IV. geschaffene Ordnung), für die Aufstände der Leibeigenen, und

¹ Сказание Авраамия Палицына. Подл. текста и комм. О. А. Державиной и Е. В. Колосовой. Под ред. Л. В. Черепнина, М.-Л., 1955. Die weiteren Zitate sind aus dieser Ausgabe.

² Э. Иглои. Современники о причинах «Смуты»
Slavica, V. Debrecen, 1965. 155—63.

dafür, daß die sich einen „guten Zaren“ wünschenden Massen glaubten, daß der Zarewitsch Dmitri lebt, weil sie die Besserung ihres Schicksals von der Erfüllung dieses Glaubens erwarteten. Deshalb konnte der Thronbewerber und spätere Thronräuber einen fast freien Weg nach Moskau haben. Deshalb konnten sich die polnischen Adelstruppen solange in Sicherheit fühlen, bis sie durch ihr Unwesen und Verhalten, das die religiöse Gesinnung und Sitten der prawoslawischen Gläubigen beleidigen mußte, den Zorn der Moskauer auf sich zogen. Aber im Jahre 1606, als die Smuta mit dem Auftauchen des falschen Dmitri I. tatsächlich eine kritische Wendung nahm, und mit dem unerwarteten Tod von Boris Godunow treten die Fremden — wie der Schriftsteller sagt — als Statisten in dem russischen innenpolitischen Drama auf. Der Schriftsteller übertreibt nicht einmal die Bedeutung der katholisierenden Bestrebungen der Polen, besser gesagt die des hinter ihnen stehenden Roms. Die polnische Intervention zeigte sich zu dieser Zeit noch nicht so offen. Was König Sigmund III. wollte, machten die Russen selbst: durch ihre Teilung und durch die um die eigenen Interessen geführten Streitereien bereiteten sie die Bedingungen für die im Jahre 1609 beginnende offene Intervention, die mit regulären Truppen durchgeführt wurde, vor. Auf die früheren Jahre zurückblickend will Palicin beweisen, daß diese Intervention nicht notwendig war, die Russen hätten ihr vorbeugen können. Die Anzahl der Polen, die sich unter dem Vorwand der Unterstützung des falschen Dmitri I. aufheilten, war sehr gering: „Поляков убо и Литва сотни две или три.“³ Und selbst wenn wir wissen, daß der Schriftsteller diese Anzahl nur des Kontrastes wegen so gering hält, dann hat er auch recht, wenn er sagt: „Русских же изменников пятирицею сугубо пред ними.“⁴ An einer anderen Stelle sagt er, daß selbst die Begleitung von Marina Mnischek, der Braut des falschen Dmitri I. viel größer war (es wird von über 6 000 „Hochzeitsleuten“ geschrieben).

Aus den Zahlenverhältnissen der Fremden und der ihre Unterstützung annehmenden russischen Verräter zieht Palicin eine wichtige Folgerung: wären diese Verräter *Patrioten* gewesen, wäre nichts einfacher gewesen, als die Fremden bis auf den letzten Mann „смерти предати“.⁵

Die wahre Gefahr für Rußland ist die Zerteilung, der unsinnige Bruderkampf, den die Polen mit der Waffe in der Hand schadenfreudig betrachteten (. . . „вооружены стояще, бездельно, смеяхуся безумству нашему и межеусобию“⁶), oder sie grübelten erschrocken, und berieten über ihre eigene Zukunft: „внимаем о себе, братие, — что сии русаки друг другу соделают; намже что будет от них?“⁷

Der Patriotismus des Schriftstellers kommt im 1—6. Kapitel nicht in der Mobilisierung gegen den äußeren Gegner, sondern in der Erschließung der inneren Zustände zum Ausdruck. Er bestimmt den Mangel an Patriotismus und das Verirren darin, daß die partiellen Interessen von allen über die gesamtrossischen In-

³ Сказание Авраамия Палицына, гл. 6, л. 34 об., (118).

⁴ там же

⁵ там же

⁶ там же, гл. 6, л. 33 об. (118).

⁷ там же, гл. 6, л. 34 об. (117).

тересов gestellt werden: „Бысть тогда разорение божим святым церквам от самех правоверных.“⁸

Die soziale Krise berührt der Schriftsteller kaum; er drückt seine Meinung über die herrschende russische Klasse auf moralischer Ebene aus: die Russen sind durch Charakterschwäche, Bestechbarkeit, unendlichen Egoismus und durch Gehäßigkeit verblindet, sie sind schlechter als die Fremden, weil sie auf ihre Landsleute „яко на люта зверя, со множеством оружій прескакаху“⁹ Die Polen, die ihrem Beispiel nicht folgen, werden von ihnen verspottet: „худяками и женками нарицаху“.¹⁰

Die Demoralisierung der herrschenden Klassen ist ein nahezu unaufhaltsamer Prozeß. Während der Herrschaft von Schujski, als sich der Bojarenzar in Moskau vor dem von den Polen unterstützten falschen Dmitri II. schützt, sind die Treue zum Zaren, und der Patriotismus für Geld erhältliche Ware. Den von Iwan IV. geforderten, auf die unbedingte Gehorsamkeit begründeten, eigennützligen, opferbereiten „ärarischen Patriotismus“ gibt es schon längst nicht mehr. Die russischen Herren pendeln zwischen Moskau und dem Tuschinoer Lager fast täglich; und überlegen hemmungslos, wem sie dienen sollen — dem heutigen Zaren, oder dem Thronbewerber, der seinen Platz einnehmen will. In dieser Überlegung fehlt die Erwägung; die Motivierung des Wahl— und Entscheidungszwangs durch das Gewissen ist ihr fremd. Die russischen Herren sind zu heimatlosen, amoralischen Söldnern geworden, die „вышши меры своая жалования хотяше; им же не довлеяше ни пять крат, не даят деяний, но целовавше, и таинницы нарицаемы, животворящий крест господень ко врагом же прелагахуся и в Тушине быв, тамо крест же господень целовав и жалования у врага божия взяв, и вспять во царствующий град возвращахуся и паки у царя Василия болши прежняго почеть и дары и имения восприимаху и паки к вору отъеждаху“.¹¹

Gegen diese scheußliche Charakterlosigkeit läßt sich der Schriftsteller erbittert aus, indem er das ganze russische Volk verurteilt: „сквернейши бо иноверных есмы“.¹²

Palicin verurteilt die Verräter — unabhängig davon, wem sie dienen — sehr streng; mit fast gleicher Rigorosität verurteilt er die Russen, die sich aus den stürmischen Ereignissen ausschalten wollen, und von Eigensucht gelenkt das Private, Persönliche, über das Gemeinsame, Gesamtnationale stellen. Der Schriftsteller spricht in der ersten Person Plural, so verallgemeinert er und enthüllt das für diese Epoche charakteristische Verhalten: „егда убо слышахом грады разоряемы и видехом от них, яко ото огнями печи избегающа з зверским рыканием, — им же не скоболохом, ни плакахомся, ни рыдахомся ниже домы наша отверзохом им, и мнехом, яко не придут таяждена ны и глаголющи:“ Далече суть сия, тамо вся преминут сия от нас“¹³

⁸ там же, гл. 6, л. 38 об. (120).

⁹ там же, первая редакция начальных глав, л. 348 (267).

¹⁰ там же, первая редакция начальных глав, л. 348 об. (268).

¹¹ там же, первая редакция начальных глав, л. 351—351 об. (269).

¹² там же, гл. 6., л. 44 об. — 47 (125).

¹³ там же, гл. 6., л. 38 об. (120).

Die aufrichtige Berücksichtigung der gesellschaftlichen Sünden, und ihrer das ganze Volk, den Staat gefährdenden Folgen sowie die selbstquälende Gesellschaftskritik sind sowohl in der historischen Publizistik der Smuta als auch in der vorangehenden russischen Literatur ohne Beispiel. Dennoch ist das sich aus dem Selbstkritik ergebende unerbitterliche Urteil nicht apokalyptisch, nicht schicksalhaft. Palicin glaubt daran, daß die Smuta eine Übergangszeit ist, und daß eine moralische Erneuerung kommen wird, die für die Wiederherstellung der Ordnung unentbehrlich ist. Diese Ordnung ist nichts anders, als die feudale Klassenherrschaft in einem zentralisierten Staat, der einen gesetzlichen Herrscher, eine Hierarchie hat, die die Rechte und Pflichten für jederman bestimmt. Diese Ordnung fordert Anpassung an die gemeinsamen Interessen und ein Handeln entsprechend seiner Stellung, die der Betreffende in der Klassengesellschaft einnimmt. Palicins „Patriotismus“ beansprucht hier also eine gesamt-nationale Einheit zur Herstellung der Ordnung, und danach erwartet er, daß diese durch die gewissenhafte Erfüllung der gesellschaftlich und sozial determinierten, nach Klassen und Schichten differenzierten Pflichten bewahrt werden kann.

Im 1—6. Kapitel findet man einen Patriotismus analytischen Charakters. Im zweiten Teil der „Erzählung“ äußert sich der Patriotismus in konkreten Situationen, wobei der Sturm des Klosters beschrieben wird. Es muß vorausgeschickt werden, daß sich Palicin selbst für die Verkörperung des ideellen Totalpatrioten hält; dies kommt sowohl bei der Beschreibung des Angriffes auf das Kloster als auch bei der des Volksaufstandes zum Ausdruck.¹⁴ Sein Patriotismus ist die verzweifelte Selbstbekräftigung eines Mannes, der in der kritischen Periode — zur Zeit der Smolensker Verhandlungen — die von dem späteren Zaren geführte russische Delegation im Stich gelassen hat, weil der polnische König die Unverletzbarkeit und Autonomie des Troici—Sergejev—Klosters garantierte. Das persönliche und partikuläre Interesse wandte Palicin von dem konsequenten Vertreten der allrussischen Interessen ab. Die politische Taktik Palicins schließt natürlich seinen Patriotismus nicht aus, dieser Patriotismus ist aber der Patriotismus der „Überlebenden“, derjenigen, die nach Sicherheit suchen und nicht derjenigen, die eine Selbstopferung auf sich nehmen. Seine außerordentliche Nüchternheit, richtige Orientierungsfähigkeit und gründliche Menschenkenntnis bewahrten Palicin vor einer nur mit Stereotypen manipulierenden Begeisterung. In der Geschichte des Sturmes auf das Kloster sind seine Mitteilungen glaubwürdig, und wenn in seiner Wertordnung die Befangenheit nicht fehlt, so kommt sie aus seiner Überzeugung, und zeigt sich nicht in der Verfälschung der Tatsachen, sondern in ihrer Bewertung, wo die Proportionen etwas verschoben erscheinen.

Zur Zeit des Angriffes der Polen, im Jahre 1609 hatte das Troici—Sergejev—Kloster eine wichtige strategische Rolle. Das mächtige Kloster wurde zu einer Festung ausgebaut, es gewährte nicht nur den Flüchtlingen Obhut, sondern als Tor von Moskau schützte es auch die russische Hauptstadt. Die strategische Bedeutung seiner Besetzung wurde also von Palicin real bewertet. Daraus folgt sein Grundgedanke: wer das Kloster schützt, schützt Rußland. Und wer schützt das Kloster?

¹⁴ E. Iglói: Avraamij Palicin's Selbstbildnis. *Slavica*, VII. Debrecen, 1967, 117—128.

Natürlich leben die Schutzheiligen des Klosters und die Menschen von Fleisch und Blut, deren Schicksal mit dem Heim von Sergej verbunden ist: Mönche, Bauern aus dem Kloster, Flüchtlinge von der Umgebung, Jugendliche. Alte, Frauen, Kinder und die Soldaten von Wasili Sujski: Adlige und Kosaken in den Mauern monatelang zwangsweise zusammen und aufeinander angewiesen.¹⁵

In der Beurteilung der Belagerer und der Belagerten zeigt Palicin nichts Neues. Er stellt beide Lager der Anhäufung der Antonymien traditionellen mittelalterlichen Geistes, aber politischer Bedeutung gegenüber und betrachtet den Angriff aus der Ferne. In dieser makroskopischen Darstellung bilden die Verteidiger eine homogene Kraft, und ihnen steht das ebenso homogene Heer der Angreifer gegenüber: православное христианство ≠ сонмища сатанина; христианское воинство ≠ врази лютоори; Христово стадо ≠ еретическое... исчадие; ограда Христова ≠ богоотступницы; агньцы ≠ волки; заяцы ≠ псы

Die den absoluten Kontrast hervorrufenden Metapher-Symbole, Attribute und Gleichnisse sind Relikte einer früheren literarischen Etikette, und sind in dem ersten, aus dem 15. Jahrhundert stammenden Text des Kronographs als Elemente des Zeitstils vorhanden. Diese festen Formeln, Stereotypen beherrschen auch die mit Palicin polemisierende „Andere Erzählung“. Bei Palicin verhindern aber diese sprachlichen Mittel die differenzierte Wertung und Darstellung des Menschen und einer menschlichen Gemeinschaft nicht. Von der makroskopischen Betrachtungsweise ausgehend, nähert sich Palicin von Stufe zu Stufe einer mikroskopischen, analysierenden Ansicht, die auch die Details für wichtig hält, und aus ihnen schließt er in einem Lager auf Widersprüche und Konflikte.

Die mit der Beschreibung der Ereignisse und Umstände des Sturmes verbundene mikroskopische Betrachtungsweise trennt die anscheinend homogene Besatzung des Klosters in sich qualitativ voneinander absondernde Gruppen, und ihr kollektives Porträt zeigt die eigenartige, für Palicin charakteristische Gradation des Patriotismus.

Die Vertreter des vollkommenen, wahren Patriotismus sind die Mönche, die nicht den Zaren, sondern ihren Glauben und ihr Vaterland bewahren: das tun sie durch Gebete, durch mutspendende Worte, durch die Heilung der Verletzten und Kranken, durch die Verpflegung der Kämpfer, und wenn es notwendig ist, sogar mit Waffen. Sie sind würdige Nachfolger von Perewetow und Osliba, die die Mönch—Helden der Schlacht bei Kulikowo waren. Ihre Worte gaben eine unermessliche moralische Glaubwürdigkeit: das ganze Land achtete auf sie. Das halten selbst die Polen für sehr ärgerlich, und deshalb fordern sie von dem Polizeichef: er soll den Mönchen verbieten, daß sie unter den Soldaten und den einfachen Leuten für den Kampf agitieren, und zum Einrücken aufrufen.

Das Kloster selbst ist nur eine einzige Festung, die Wiege des Kampfes für das Vaterland. Aber hier entspringt der kleine Funke, der das Feuer entfacht, das ganz Rußland in Erregung bringt. Das symbolische dichterische Bild des späteren Volksaufstandes ist diese aus einem kleinen Funken entbrannte Flamme: „аще и мала искра огня любви божия во обители чудотворца возгорется, но напоследок велик пламень добродетельный распалися.“¹⁶

¹⁵ Сказание Авраамия Палацына, гл. 10 и 35.

¹⁶ там же, гл. 8., л. 58 об. (130).

Die strategische Rolle des Klosters erkannte auch Wasilij Schukskij, und er schickte eine bedeutende militärische Kraft zur Verteidigung des Klosters. Die zaristischen Truppen werden gebraucht; das kann nicht einmal Palicin leugnen, er spricht aber verächtlich und mit Vorbehalt von den Soldaten. Er beschreibt nicht ihre Tugenden, sondern macht ihre Fehler noch größer. Diese Soldaten und ihre Befehlshaber sind eigennützig, verderbt und gewalttätig. In der Schlacht tun sie, was sie tun sollen: „бияхуся с стен градных крепко и мужественно“,¹⁷ gibt es einen kurzen Waffenstillstand, leben sie nicht mehr nach der rigorosen Ordnung eines Klosters: „часто вхождаху утешатися сладкими меда“¹⁸ von maßlosem Gesaule „породишяся блудныя беды“¹⁹ und „страсти телесныя... зло... сребролюбственное“²⁰.

Viele Soldaten machen schwarze Geschäfte mit dem Brot, das die Mönche bei Tag und Nacht für die Verteidiger und Schützlinge des Klosters backen. Palicin ist Wasilij Schukskij böse, weil der Zar die sehr reiche religiöse Institution gebrandschatzt hat.

Diesen Unwillen überträgt dann der Schriftsteller auch auf die Soldaten des Zaren. Die Vorstellung beider Führer des zaristischen Adelsheeres — die von Herzog Dolgorukij und Golochwastow — ist von vornherein böse: sie werden für streitsüchtige, fahrig miteinander rivalisierende Männer gehalten. In ihrer Darstellung sind nicht einmal die Spuren der in der frühfeudalen russischen Literatur obligatorischen, der Hierarchie und Funktion folgenden spontanen Idealisierung vorhanden.

Auch Palicin idealisiert, aber mit den Mitteln der epischen Dichtung, und mit ihrer majestätischen Plastizität schildert er die einfachen Klosterbauern als Helden; diese Bauern werden durch das erbarmungslose Schicksal gezwungen, mit der Waffe in der Hand zu kämpfen, anstatt die Felder zu bebauen. Die Mönche verteidigen bewußt ihren eigenen Glauben, das Eigentum des Klosters; ihr Patriotismus ist also persönlich motiviert. Die Soldaten von Schukskij kämpfen als Söldner, und ihr Patriotismus rührt deshalb nicht von ihrem Glauben her. Die einfachen Klosterbauern werden tatsächlich zu Patrioten, weil sie in der kritischen Situation entscheiden müssen. Vor ihnen stehen zwei Möglichkeiten: entweder nehmen den verlockenden Antrag von dem sich für richtigen Dmitri ausgebenden falschen Dmitri II. an, oder sie unternehmen den selbstaufopfernden, aussichtslosen weiteren Kampf, der nur durch reinen Patriotismus motiviert ist. Dieser Patriotismus schließt die Treue zu dem Brotgeben, zum Kloster, zum prawoslawischen Glauben, Heim, zu dem für den gesetzlich gehaltenen Zaren, und zu der Hauptstadt des Landes — zu Moskau — in sich. Wenn irgendwo in der Literatur der Smuta-Zeit, dann gibt Palicin in dem kollektiven Porträt der Klosterbauern, und in der Figur der als Bogatir geschilderten individuellen Helden anschauliche Beispiele der volkstümlichen Interpretation des Patriotismus. Die Verkörper dieses primären Patriotismus sind die wahren Volkshelden Palicins, die aus dem Kreis der Klosterbauern hervorgegangen sind. Sie sind die würdigen Nachfolger der heldenhaften Bogatiren von Aleksander Newski und von Jewpati Kolowrat. Silow und Slota (27. Kap.) vernichten den Tunnel des Feindes

¹⁷ там же, гл. 44., л. 129 об. (178).

¹⁸ там же, гл. 34., л. 108 об. (164).

¹⁹ там же, гл. 34., л. 108 об. (164).

²⁰ там же, гл. 34., л. 108 об. (164).

unter dem Kloster, indem sie ihr Leben dafür opfern. Der stolze und selbstbewußte Daniilo Seweling (27. Kap.) wäscht den wegen des Verrates seines Bruders entstandenen Schandfleck mit seinem eigenen Blut ab; Merkuri und Aigustow (28. Kap.) brechen in die Dienststellen der Stürmer unerwartet vor den adligen Berufssoldaten ein; Pilimon Tenenow (30. Kap.) besiegt einen polnischen Feldherrn in einem Duell; Michailo Pawlow hat eine tödliche Wunde, und trotzdem läßt er sein Opfer, den litauischen *Herzog* nicht laufen (30. Kap.); auf Anani Sewelin jagt das feindliche Lager, als wäre er ein besonderes Stück Wild (41. Kap.); Nikofor Silow siegt über den berüchtigten Führer des polnisch-litauischen Heeres — sie alle sind Volkshelden, die ihr Leben lang das Feld bebauen, aber durch ihre Heldentaten bleibt ihr Name unsterblich. Sie sind die Verkörperungen des primären Patriotismus.

Im dritten Teil der „Erzählung“ ordnet der Schriftsteller die Geschichte seiner eigenen Person unter. Seine tatsächlichen oder gemeinten Verdienste übertreibt er dermaß, daß in ihrem Schatten die Bedeutung der historischen Ereignisse sehr gering wird, und die historischen Persönlichkeiten zu charakterlosen Figuren degradiert werden. Auch seine Gesellschaftskritik wird „verdächtig“, obwohl der Schriftsteller dieser Frage einen ziemlich großen Raum opfert. Die Details für sich selbst sind im Grunde genommen glaubwürdig — dies wird durch andere Erinnerungen bewiesen. Die Details werden aber derart miteinander verknüpft, daß ihre kausale Verbindung falsch und irreführend ist.

Der Angriff des Klosters wird dadurch beendet, daß sich die Polen, Litauer und die mit ihnen verbündeten Kosaken schmachvoll zurückziehen. Von nun ab spielt die Handlung in dem schwere Monate durchmachenden Moskau, wo Schujski noch Herrscher ist. Palicin beschreibt das Elend und die verderbten Sittenverhältnisse: diese Darstellung beweist seine Beobachtungsfähigkeit und, daß er sich für die Fragen der Gesellschaft in erhöhtem Maße interessiert. Aber das Troici—Sergejev—Kloster ist für Palicin sogar zu dieser Zeit wichtiger als Moskau, dessen Zugrundegehen er meisterhaft besingt. Ist ihm „das neue Rom“, wie er Moskau nennt, tatsächlich so lieb? Ja, aber nur solange, bis er nicht auf die Unterstützung des Klosters angewiesen ist. Die Getreidehändler leiden durch die Hungersnot und spekulieren mit dem Getreide. Die Moskauer sind ihnen ausgeliefert. Palicin hilft aber den Moskauern, indem er aus den Lagern des Klosters Getreide hergibt; das tut er aber aus Zwang, auf die Aufforderung des Zaren hin. Später bittet Schujski nicht mehr um Getreide, sondern läßt es seine Soldaten requirieren, damit er die Moskauer vor dem Hungertod rettet; in dieser Situation bricht Palicin erregt gegen Wasili Schujski aus, weil er die Schatzkammer des Klosters „ausgeplündert“ hat. Die steife Gegenüberstellung des Klosters und Moskaus, sowie der Mönche und des Zaren beweisen wiederholt den sekundären Charakter des Patriotismus von Palicin selbst in seiner positiven Offenbarung.

Den Sturz von Schujski hält Palicin für keine historische Tragödie, er berichtet kurz über die Dethronisierung. Über die Zeiten ohne Zaren, über die Machtlosigkeit der Bojarenregierung und über die wirren Zustände in Moskau spricht er mit überraschender Nüchternheit und gleichzeitig mit einer ungerührter Kälte. Auch in dieser Zeit ist er nur mit dem Schicksal des Klosters beschäftigt, und die Zukunft wird zeigen, daß er in der Delegation, die 1611 bei Smolensk mit dem polnischen

König über die Besetzung des Thrones verhandelt, nur das Kloster vertritt. Die Losung des heldenhaften Ideals verändert er zu einer gewagten, enthüllenden Wendung „Луце мѣ бы потяту быти, неке поломему быти,²¹“ als er die Besserwisserei der sich vor den eigenen Leibeigenen fürchtenden russischen Herren vermittelt: ihre Bereitschaft, den polnischen Prinzen Wladislaw zum russischen Thron einzuladen, wird wie folgt begründet: „Лучши убо государичю служити, нежели от холопей своих побитым быти и в вечной работе у них мучитися.²²

Die Adligen bangen um ihre eigenen Klasseninteressen und Privilegien; sie fürchten sich nicht vor der Interventionisten, sondern vor den eigenen Leibeigenen. Die Erinnerung des Bauernkrieges Bolotnikows ist noch sehr lebendig. Die in die Hände des Volkes gegebenen Waffen wenden sich leicht gegen die russischen Herren — das haben die Grundbesitzer erkannt, und Palicin faßt diese Erkenntnis im Worte. Deshalb ist der erste, von Liapunow geführte Volksaufstand nur eine Bewegung der Adligen. Diese beschränkte, ohne das Volk organisierte Bewegung ist von vornherein zum Untergang verurteilt. Palicin unternimmt aber die poetische Darstellung des ersten Volksaufstandes. Liapunows Heer „христоименитое“ und християлюбивое воинство“ das für den prawoslawischen Glauben mit den Ketzern einen Kreuzzug führt: . . . „божиею милостию одолешя еретиком православнии и многих поляков и немец побили“, „все християлюбивое воинство и всенародное множество православных христиан помалу разгорающеся о бозе духом ратным“.²³

Der erste Volksaufstand war wegen seiner Isoliertheit, Unorganisiertheit, der Zerspaltung der daran Teilnehmenden, wegen des Mangels an einer Massenbasis und wegen der Schwäche der militärischen Führung von vornherein zum Mißerfolg verurteilt. Die Wiederherstellung der Unabhängigkeit des russischen Staates, die Befreiung von Moskau, die Vorbereitung der Besetzung des russischen Thrones durch eine gesetzliche Wahl, die Verdrängung der Interventionisten aus einem Großteil Rußlands, das Schaffen der zur Konsolidierung der gesellschaftlichen Ordnung notwendigen gesamtnationalen Einheit war ein Ergebnis des sogenannten zweiten, von wahrhaft volkstümlichen Ideen und Charakterzügen getragenen Volksaufstandes. Die Geschichte zählt diesen, das ganze Volk mobilisierenden Krieg zu den ruhmvollen Ereignissen der russischen Geschichte. Der Führer des Volksaufstandes — Minin und Pozarski — leben im Andenken des russischen Volkes als Nationalhelden. Nach der Bekenntnis von Palicin nahm er selbst an dieser Bewegung teil, und zwar trug er zum Erfolg der Bewegung bei. Über Minin und Pozarski spricht er mit unverhüllter Antipathie, hemmungslos verfälscht er ihre Rolle und eignet ihre Verdienste sich selber zu. Die volksaufständischen und unter ihnen gerade die einfachen Leute und die Kosaken sind der Pöbel, den nur Palicins begeisternde und geduldige Worte zusammenhalten und zum Kampf bewegen. Der Ordensvorsteher des Klosters und die Brüder schreiben und schicken nach allen Himmelsrichtungen die Proklamationen, die die Prawoslawen zum Kampf gegen die Fremden auffordern sollen. Er, Palicin, ist ständig bereit, die ungehorsamen Kosaken, mit denen Pozarski nicht fertigwerden kann, rechtzeitig zu bezähmen. Palicin hat die

²¹ Слово о полку Игореве, под. ред. В. П. Адриановой-Перец, М.-Л., 1950, 10.

²² Сказание Авраамия Палицына, гл. 61., л. 173 об. (208).

²³ там же, гл. 64., л. 178 (211), гл. 65., л. 184 об. (215), л. 65., л. 185 об. (216).

Stirn, in strategischen Fragen Stellung zu nehmen. Daß das Heer von Pozarski sich zur Wiederbesetzung Moskaus bereit macht und bei Jaroslaw sein Lager aufschlägt, wird von Palicin als Fehlen an kämpferischem Geist in einem hergelaufenen Heer bezeichnet. Für die Offenbarung des wahren primären Patriotismus wird der zweite Volksaufstand gehalten; über seine Teilnehmer äußert sich Palicin: „виде мятежников, и ласкателей, и трапезолюбителей, а не боголюбцов, и воздвижущих гнев и свар между воевод и во всей воинстве.“²⁴

Von nun an ist die Beschreibung des Volksaufstandes nichts anderes als die begeisterte Würdigung der hypertrophisierten historischen Mission von Palicin. Das patriotische Feuer der Erzählung erlöscht dort und da, wo und wann es sich in Wirklichkeit am aufrichtigsten und mit elementarer Kraft zeigt. Palicin ist nicht fähig, den in seiner primären Form erscheinenden von elementarer Kraft geprägten Patriotismus der Smuta-Zeit wiederzuspiegeln. Dies ist auf seine Klassenzugehörigkeit und auf seine krankhafte Selbstverherrlichung zurückzuführen, und ist nicht mit dem Mangel an schriftstellerischer Begabung zu erklären.

Der Patriotismus der Gesellschaftskritik Palicins ist im ersten Teil der Erzählung (1—6. Kap.) unanfechtbar, und obwohl er aus der Sorge um die feudale russische Gesellschaft und Staatsordnung entspringt, sind sein Inhalt und seine Absicht progressiv ausgerichtet; in der Beschreibung des Angriffes auf das Troici—Sergejev—Kloster wirken die möglichen Offenbarungen des der gesellschaftlichen und klösterlichen Hierarchie angepassten Patriotismus realistisch. Dagegen verkehrt sich seine Absicht im dritten Teil, wo in der Geschichte gerade der Patriotismus des aufständischen Volkes eine bestimmende Kraft ist, und Palicin als Verkörperung des Patriotismus auftritt, und durch seine Selbstverherrlichung „gelingt“ es ihm in seinem Selbstporträt das leicht zu enthüllende, abstoßende Idol des falschen Patriotismus zu gestalten.

²⁴ там же, гл. 67., л. 193 об. (221).

В. Г. Белинский о закономерностях русского историко-литературного процесса

Ю. БОРСУКЕВИЧ

В своей историко-литературной концепции Белинский учел не только достижения современной ему науки о литературе, но и достижения мирового искусства и литературы в целом. Поэтому невозможно говорить о разработанных Белинским закономерностях русского литературного процесса без учета его взглядов на мировой историко-литературный процесс. Уже в первой своей программной статье, в Литературных мечтаниях, критик достиг единства конкретно-исторического подхода в изучении литературного процесса с принципом теоретическим. В отношении к русскому литературному процессу предметом изучения Белинского явилась, главным образом новая русская литература, исходный рубеж которой критик обозначил, как известно, творчеством Кантемира и Ломоносова.

В существующей литературе о Белинском сложилось мнение, что критик недооценил русскую литературу XVIII века. Следует в связи с этим заметить, что суждения Белинского об этой литературе в целом, как и об отдельных ее представителях берутся обычно изолированно от его общей историко-литературной концепции, поэтому построенные на этой основе выводы и обобщения являются односторонними и научно несостоятельными.

Русскую литературу XVIII века Белинский оценивал конкретно исторически, исходя из своих общих взглядов на историю России, на сущность реформ Петра Великого, на формирование русской нации, учитывая диалектическое соотношение национального и интернационального начала в национальной культуре, проблему заимствования и подражательности, а также соотношение характерных для этого периода литературных направлений.

Говоря о риторическом характере русской литературы XVIII века, Белинский не дискредитировал и не принижал этой литературы. Понятием «риторика», «риторический» критик обозначил те элементы в русской культуре и литературе XVIII века, которые не были порождены почвой национальной, а явились результатом иностранного влияния.

Начало самобытной русской литературы, как известно, Белинский увидел лишь в творчестве Пушкина. Согласно его концепции, до Пушкина Россия не

имела национальной литературы потому, что эта литература «не возникла самобытно и непосредственно из почвы народной жизни, но была результатом крутой общественной реформы, плодом искусственной пересадки. И потому она сперва была подражательною и риторическою, бедною содержанием, скудною жизнию» (V, 650)¹.

Важнейшим условием появления каждой национальной литературы является, согласно концепции Белинского, достижение каждым народом того этапа развития, когда народ становится нацией. Исходя из того, что «нация выражает собою понятие и совокупность всех сословий государства» (V, 121), Белинский констатировал: «В народе еще нет нации, но в нации есть и народ» (V, 121). С этой точки зрения «Россия до Петра Великого, — отмечал критик, — была только народом и стала нацией, вследствие толчка, данного ей ее преобразователем» (V, 124).

Однако процесс преобразования русского народа в нацию в начале XIX века, по мнению Белинского, не был еще закончен. «Россия, . . . народ русский, — писал критик, — находится еще в одном из первых моментов процесса своего только что начинающегося развития; они не успели еще установиться и определяться . . .» (V, 649). Поэтому самобытная русская литература начинается только с Пушкина, а до Пушкина ее не было.

На основе выше отмеченного Белинский дал разграничение терминов «словесность», «письменность», «литература». «Литература — подчеркивал, — есть последнее и высшее выражение мысли народа, проявляющейся в слове. Органическая последовательность в развитии — вот что составляет характер литературы, и вот чем отличается литература от словесности и письменности» (V, 623).

Движение русской литературы от ее подражательного характера к национальной самобытности означало в концепции Белинского переход этой литературы от переноса на русскую почву заимствованного содержания, т. е. риторических элементов, к правдивому и всестороннему изображению русской действительности.

Основу построенной Белинским концепции народности и национальной самобытности русской литературы составило, таким образом, сочетание народного, т. е. субстанциального начала с началом интернациональным, общечеловеческим. Подражательность и самобытность творчества в его концепции — это две противоположности. Но первая обуславливает вторую. Вторая — это не только антиномическое начало по отношению к первой, но и ее следствие. Указывая на диалектическую взаимосвязь между понятиями «народность» и «национальность», Белинский отметил, что «народность» относится к «национальности» как видовое, низшее понятие — к родовому, высшему, более общему понятию» (V, 121). «Сущность всякой национальности, — пояснял, — состоит в ее субстанции. Субстанция есть то непреходимое и вечное в духе народа, которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения, целостно и невредимо

¹ Ссылки в тексте даны по изданию: В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, Москва 1953—1959.

проходит через все фазисы исторического развития. Это зерно, в котором заключается всякая возможность будущего развития» (V, 123).

Исходя из того, что в каждой развитой национальной культуре содержатся элементы культуры общечеловеческой и что последние не только не уничтожают национальной самобытности этой культуры, а, наоборот, обогащают ее, Белинский поставил и глубоко обосновал вопрос о существовании прогресса в развитии русской литературы. Собственно говоря, «борьба человеческого с национальным, — подчеркивал, — есть не больше, как риторическая фигура: но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса» (V, 29).

В истории новой русской литературы Белинский первоначально выделил как известно, четыре периода: Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский и прозаическо-народный. В сороковых годах развитие новой русской литературы до Пушкина критик начал именовать допушкинским периодом, а последующий ее процесс — периодом послепушкинским. Согласно этой новой системе периодизации творчество Пушкина рассматривается теперь как итог всего предшествующего развития русской литературы и начало ее нового этапа, этапа литературы исконно русской.

Вопрос о формировании и борьбе в новой русской литературе литературных направлений, главным образом, классицизма, сентиментализма и романтизма, по сути дела, Белинским снимается, так как, согласно его концепции, эти направления, как и вся допушкинская литература, за исключением творчества Крылова, была не туземным явлением. По отношению к классицизму и сентиментализму Белинский совсем не употребляет слова «борьба», а по отношению к классицизму и романтизму это слово, как правило, употребляет в ироническом значении. Иначе обстоит дело с послепушкинским периодом развития русской литературы, когда на смену романтизму пришло гоголевское направление и его школа.

Термина «реализм», как известно, Белинский не употреблял в значении эстетическом. Критик пользовался определениями «поэзия действительности», «поэзия жизни», «верность действительности», «совершенная истина жизни», «тесное сочетание искусства с жизнью» и другими.

Свою эстетическую теорию Белинский изложил в форме концепции «новейшего искусства». Сжатое определение сущности этого искусства критик дал в 1840-м году в статье о Горе от ума Грибоедова. «Наше новейшее искусство, начатое Шекспиром и Сервантесом, — подчеркивал, — не есть ни классическое, потому что «мы не греки и не римляне», и не романтическое, потому что мы не трубадуры средних веков. Как же его назвать? Новейшим. В чем его характер? В примирении классического и романтического, в тождестве, а следовательно, и в различии от того и другого, как двух крайностей» (III, 428).

Учитывая обособленные Гегелем два важнейших периода в истории мирового искусства, период классический и период романтический, Белинский все свое внимание сконцентрировал на современном ему историко-литературном процессе. Выдвигая вслед за Шиллером концепцию синтеза в новейшем искусст-

ве двух различных способов воспроизведения действительности, способа «объективного», характерного для эстетики классицизма, и способа «субъективного», получившего обоснование в романтической эстетике, Белинский не только отдал дань популярной в его время в европейской и русской науке о литературе концепции, но и на этой основе построил оригинальную эстетическую теорию. Впервые эту теорию критик изложил в статье О русской повести и повестях г. Гоголя в форме концепции поэзии реальной и поэзии идеальной. Исследователи справедливо усматривают в этой теории изложение взглядов на сущность художественных методов: реализма и романтизма. Было бы однако ошибкой не видеть того различия в понимании критиком этих методов и соответствующих им литературных направлений, какое было им достигнуто в сороковых годах.

Проблемы романтизма в эстетике Белинского являются одними из важнейших. Это и понятно: Белинский — практический участник и главный теоретик литературного процесса в пору, когда решались судьбы классического романтизма в европейских и русской литературах. В связи с этим для нас совершенно неприемлемы выводы тех исследователей, которые пытаются приписать Белинскому позицию антиромантика, навязать ему взгляды о неполноценности романтизма по сравнению с реализмом. И наоборот, мы разделяем точку зрения тех историков литературы, которые считают, что критик развивал цельную концепцию словесного искусства, что в его трактовке поэзия «идеальная» и поэзия «реальная» были равноправны и одинаково приковывали его внимание.

При характеристике романтизма Белинский поставил ряд важнейших проблем, которые можно в основном свести к двум аспектам, а именно: к пониманию романтизма как определенного литературного направления конца XVIII и начала XIX века, а также к попытке охарактеризовать это течение со стороны его типологии, в отношении метода и стиля.

Основную типологическую черту романтизма Белинский, вслед за Гегелем, связывает с личностью, с внутренним миром человека. Именно в этом плане трактует он так называемый романтизм средних веков. Но романтизм конца XVIII и начала XIX века, — по мнению критика, — не возрождение средневекового романтизма, а создание новых эстетических ценностей на основе общественно-политического преобразования мира.

Белинский впервые дал всестороннее философское, эстетическое и историко-литературное обоснование творчества Жуковского. Однако, место и значение этого поэта в развитии русской литературы стало для критика вполне понятным только в перспективе творческих достижений Пушкина.

Проблемы влияния Жуковского на творчество Пушкина Белинский не сводил, — как считают некоторые исследователи, — только к лицейскому периоду и не рассматривал ее в аспекте оппозиции, т. е. борьбы творца «Евгения Онегина» с «реакционным» романтизмом автора «Светланы». Эту проблему Белинский рассмотрел в плане сопоставления художественных методов обоих поэтов. Тезис Белинского, что «... без Жуковского Пушкин был бы невозможен и не был бы понят» (III, 507) получил в этом отношении не только конкретно историческое, но и теоретическое обоснование.

Сформулированная в первой статье пушкинского цикла методологическая установка исследования, что «писать о Пушкине — значит писать о целой русской литературе» (VII, 106), позволила критику всесторонне обосновать основное положение его историко-литературной концепции, согласно которой Пушкин был следствием всего предшествующего развития русской литературы. Однако творчество Пушкина явилось одновременно и отрицанием подражательного характера предшествующей ему литературы. «... Если б наша поэзия до Пушкина, — писал Белинский, — не была подражательною, то и поэзия от Пушкина не могла бы быть оригинальною и народною» (VI, 600).

Таким образом, влияние предшествующей русской литературы на творчество Пушкина Белинский рассмотрел в аспекте синтеза и отрицания.

Совершенно иначе критик поставил и решил проблему влияния Пушкина на последующую ему русскую литературу. Если влияние предшествующей русской литературы на творчество Пушкина проявилось в пушкинском синтезе, который явился одновременно и отрицанием подражательного характера этой литературы, то влияние Пушкина на последующий литературный процесс сказалось, — по мнению критика, — в углублении принципа народности в русской литературе и в расширении изображения русской действительности.

Сопоставление творческих достижений Лермонтова и Гоголя с наследием Пушкина Белинский также дал не только в плане преемственных связей, но и в плане противопоставления. Определяющим методологическим принципом было, однако, для критика не противопоставление Пушкину творчества Лермонтова и Гоголя, а синтез, т. е. обоснование закона преемственного развития русской литературы.

Основное положение Белинского в оценке творческих достижений Лермонтова можно свести к мысли, что Лермонтов достойный преемник Пушкина. Установление генеалогической преемственности между Лермонтовым и Пушкиным явилось, таким образом, важнейшей заслугой Белинского. Вопрос этот критик поставил и решил во всей его сложности и глубине. Его основу составил принцип научного историзма и закон внутренних диалектических связей и, прежде всего, закон органического сочетания и борьбы противоречий. При помощи этой методологии Белинский определил существо новаторства Лермонтова и обосновал тезис, что «нет двух поэтов столь существенно различных, как Пушкин и Лермонтов» (VII, 36). «Да, очевидно, — подчеркивал критик, — что Лермонтов поэт совсем другой эпохи и что его поэзия — совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества» (IV, 503).

Однако, несмотря на эти антиномии, определяющим методологическим принципом было для Белинского не противопоставление, а сопоставление, ведущее к синтезу. Пушкин, Лермонтов и Гоголь — это очередные звенья в становлении национальной, исконно русской литературы. Когда Белинский противопоставляет Лермонтова Пушкину по линии субъективной направленности их творчества, то это не значит, что критик противопоставляет творческие методы сравниваемых поэтов. Также как и Пушкину, — неоднократно отмечал критик, — Лермонтову характерна не узость и не односторонность, а всесторонность в изображении жизни.

Углубленное изображение русской действительности Белинский впервые увидел, как известно, в комедии Грибоедова *Горе от ума* и в романе Пушкина *Евгений Онегин*. Обосновывая важнейшее для его историко-литературной концепции положение, что «без Онегина был бы невозможен Герой нашего времени, так же как без Онегина и *Горя от ума* Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины» (VII, 442), Белинский пояснял, что значение *Горя от ума* Грибоедова и *Евгения Онегина* Пушкина в том, что эти произведения явились «первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова», что «оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь» (VII, 442).

В плане преемственной связи и в плане противопоставления Белинский мотивировал также связь творчества Гоголя с наследием Пушкина. Однако, основной сопоставления творчества обоих писателей был принцип народности. «Пушкин имел сильное влияние на Гоголя, — подчеркивал критик, — не как образец, которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед искусство и не только для себя, но и для художников открывший в сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании сарafана, но в самом духе народа» (VIII, 79—80).

Устанавливая, аналогично как и по отношению к Пушкину, связь творчества Гоголя с предшествующей ему русской литературой, а также связь натуральной школы с творчеством Гоголя, критик сделал следующий вывод: «Если натуральная школа вышла из Гоголя, из этого отнюдь не следует, чтобы она не была результатом всего прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные потребности нашего общества, потому что сам Гоголь, ее основатель, был результатом всего прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные потребности нашего общества» (X, 243).

Таким образом, гоголевский синтез базируется, — согласно критику, — на синтезе пушкинском. Без достижений Пушкина Гоголь не смог бы подняться на достигнутую им высоту, не смог бы осуществить своего синтеза, т. е. развить и углубить достижений Пушкина.

В сопоставлении с Пушкиным Гоголь более глубоко изобразил негативные стороны современной ему русской действительности. И достиг этого не только посредством комизма, но и трагизма. Обосновал при этом диалектическое сочетание этих двух качеств в одном человеческом характере. Поэтому в творчестве Гоголя получила выражение не только линия сатирическая, кантемировская, но и линия идеальная, ломоносовская. «У Гоголя, — писал Белинский, — Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и трагического величия; оба эти противоположные элементы слились в нем неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе, личность; (...). Если в Тарасе Бульбе Гоголь умел в трагическом открыть комическое, то и в Старосветских помещиках и Шинели он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости жизни найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя.

Это — не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще более — дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности» (X, 244).

Как видим, к концу жизни Белинский пришел к синтезу пушкинского и гоголевского направлений в русской литературе. Рассматривая творчество обоих писателей в плане очередных звеньев в становлении национальной, исконно русской литературы, критик одновременно стал более глубоко мотивировать связь современного ему литературного процесса с русской литературой XVIII века. Говоря о том, что Пушкин синтезировал в своем творчестве линию Кантемира и Ломоносова, а Гоголь утвердил в русской литературе критическое направление, Белинский одновременно подчеркивал, что «оба эти направления были законны (. . .)» (X, 289).

Совершенно очевидной явилась теперь для Белинского также связь и взаимообусловленность в русском историко-литературном процессе дореалистических художественных направлений. Согласно закону преемственного развития русской литературы, романтизм Жуковского по сравнению с сентиментализмом Карамзина был очередной, следовательно, более высокой ступенью в развитии этой литературы. Однако к концу жизни оба эти литературные направления критик связал с поэзией идеальной, т. е. с линией Ломоносова.

Таким образом, если в начальный период своей деятельности Белинский рассматривал романтизм в русской литературе как явление чужеродное, занесенное на русскую почву из других литератур, то в период более поздний зарождение этого литературного направления критик связал также с русским историко-литературным процессом.

Прав Василий Иванович Кулешов, когда пишет, что к концу жизни «Белинский уже последовательнее решал вопрос о генезисе русской литературы. Нужно было только снова вернуться к «ломоносовской» линии и ее также вывести из самой жизни, а не из «прививного» характера русской литературы»¹.

¹ В. И. Кулешов. *Натуральная школа в русской литературе*, изд. «Просвещение», Москва, 1965, стр. 78.

Психологические мотивы в творчестве Гоголя*

Л. КАРАНЧИ

История литературы не относит Гоголя к числу крупнейших художников-психологов. Этим, по-видимому, объясняется и почти полное отсутствие специальных исследований о психологическом методе писателя. Однако, ввиду исключительного значения психологического изображения в русской литературе XIX века, вопрос об отношении одного из основоположников критического реализма к внутреннему миру своих героев приобретает значение не только в расширении наших представлений о художнике, но и с более широкой историко-литературной точки зрения.

Если на развитие психологического изображения в русской литературе смотреть как на единый и органический исторический процесс, то Гоголя следует отнести, конечно, к начальной фазе этого процесса. Правда, у него есть значительные предшественники в этой области русской литературы (Карамзин, Жуковский); одновременно с разворачиванием его литературной деятельности над созданием русского психологического романа работает Лермонтов; западно-европейская литература также сделала к этому времени значительные шаги в изображении внутреннего мира человека (из современников Гоголя укажем лишь на Стендаля — автора романа Красное и черное). Гоголь, однако, пошел другим путем. Одной из причин общепринятого представления о его «апсихологичности» можно считать то, что изображение внешних проявлений душевной жизни он очень часто предпочитает психологическому рисунку в собственном смысле слова; психологическое содержание его произведений вырисовывается перед читателем чаще всего не в самоанализе его героев или в авторской речи, а посредством изображения отношений героев с окружающим миром, в поведении героев, вообще: в сложной взаимосвязи разных элементов структуры его произведений¹. В творческой лаборатории Гоголя трудно было бы выделить какую-нибудь единую и сознательно выработанную концепцию психологического изображения; можно говорить скорее лишь об отдельных

¹ Храпченко М. Б. Творчество Гоголя. М., 1959, 549.

* Настоящая статья представляет собой часть более обширного исследования о проблемах психологического изображения в русской литературе XIX века.

психологических темах, мотивах, стремлениях и достижениях. Однако и подобные компоненты психологического мастерства писателя заслуживают внимания исследователя.

О том, что Гоголь прекрасно понимал невозможность художественной правды без психологической достоверности, свидетельствуют и некоторые собственные его высказывания. «Из всего того, что мною написано, несмотря на все несовершенство написанного, можно, однако ж, видеть, что автор знает, что такое люди, и умеет слышать, что такое душа человека» — читаем в одном из его писем². А из Авторской исповеди мы узнаем и о том, что в романе *Мертвые души* он сознательно стремился собрать «одни яркие психологические явления», «поместить» те наблюдения, которые он делал «издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу [...] которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни»³. В романе Гоголь отмечает, что в изображении Чичикова он пытался поглубже заглянуть ему в душу, шевельнуть на дне ее то, что «ускользает и прячется от света», обнаружить «сокровеннейшие мысли» героя, «которых никому другому не вверяет человек». Все это свидетельствует о том, что психологическому изображению Гоголь приписывает большое значение в художественном произведении.

Изображение внутреннего мира человека Гоголь, конечно, никогда не считает самоцелью. Однако, психологическая тема налицо как в романтических, так и в реалистических произведениях писателя, а в некоторых случаях она даже занимает центральное место. Так, основным мотивом повести *Старосветские помещики* является, без сомнения, именно психология «долгой, медленной, почти бесчувственной привычки». В повести о двух *Иванах* дается картина этики и психологии провинциальной ограниченности и пошлости. Если идею повести *Вий* выводить из органического целого произведения, а не только из некоторых мотивов его, то главную задачу повести мы будем видеть в изображении и внутренности психологии беззащитности и ужаса. В *Невском Проспекте* в образе и судьбе *Пискарева* воплощается психология неспособного к жизни прекраснодушия, в фигуре же *Пирогова* — психология беззастенчивого нахальства. В образе *Ковалева (Нос)* можно наблюдать психологические последствия противоречия между самодовольством и чувством неполноценности; в *Записках сумасшедшего* мы имеем дело с видоизменением этой же темы: перед нами психология противоречия между честолюбием *Поприщина* и его подлинным положением в обществе. В *Шинели* изображается психология полной забитости, доходящей до утраты индивидуальности. Можно было бы указать и на психологическое содержание типов-символов романа *Мертвые души* (внутренняя несобранность *Ноздрева*, сентиментальная праздность *Манилова*, бессмысленное накопительство и скряжничество *Плюшкина*, благовидное мошенничество *Чичикова* и т. д.) и комедии *Ревизор* (деспотичность и лицемерие городничего, наивная любопытность почтмейстера, застенчивость смотрителя

² Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. 13. М., 1952, 168.

³ Гоголь Н. В. Собрание художественных произведений в пяти томах. Том 5., М., 1959, 550. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте, с указанием тома и страницы.

училищ, легкомысленность и безотчетность Хлестакова и т. д.) (Перечисленные типы, конечно, психологически сложнее, многостороннее и богаче предлагаемых здесь схем; мы указали лишь на некоторые, особенно яркие черты гоголевских героев.) Своеобразен психологический заряд комедии *Игроки*: она заключается, с одной стороны, в стремлении и умении одних персонажей перехитрить других, а с другой стороны, в стремлении и умении автора держать в заблуждении самого читателя или зрителя. Наличие психологического заряда можно было бы обнаружить также и в других произведениях и характерах Гоголя.

Рассмотрим некоторые особенности гоголевского психологизма, с учетом их функций, черт художественного воплощения, а также их отношения к предшествующему и дальнейшему развитию психологического изображения в русской литературе. В своих наблюдениях мы будем опираться преимущественно на опыт анализа повествовательных произведений художника.

Роль внутренних противоречий героев в психологическом методе Гоголя

Интерес Гоголя к внутренней жизни героев связан с наличием морально-этической проблематики в его произведениях. В творчестве писателя ставятся важнейшие общественные проблемы эпохи. Однако моральную идею своих произведений Гоголь чаще всего ставил выше их общественно-обличительной тенденции. Значительность нравственного аспекта в мышлении художника приводит к внутренней противоречивости героев — непосредственной предпосылке психологической требовательности и содержательности художественного произведения.

В анализе психологического метода писателя необходимо учесть, как он разбирается в душевных противоречиях героев, какое значение им приписывает в поведении и в каких целях их использует.

Чуткость Гоголя к душевным противоречиям сказывается в том, что — по верному замечанию советского исследователя — «внутренняя структура ряда его образов отмечена сплетением в различных формах видимого благородства и низости, мнимого величия и ничтожества, призрачной активности и реального паразитизма, ложной возвышенности и пошлости»⁴, в том, что «рисую повседневные эгоистические характеры, он глубоко отразил различие между действиями, внешними проявлениями чувств героев и их реальными мыслями и желаниями»⁵. Чуткость Гоголя к душевным противоречиям этим, конечно, не исчерпывается. Он указывает не только на разлад между внешними проявлениями людей и их внутренней сущностью, т. е. рисует не только и не просто психологию намеренного или бессознательного лицемерия (конечно, иногда он делает и это, например в образе Чичикова или в некоторых фигурах *Ревизора*), но и внутренние противоречия героев, независимые от их воли и намерений. Мы имеем в виду не только болезненную раздвоенность Поприщина или Ковалева, но и полную нравственную и духовную дезорганизованность Ноздрева, а также и крайнюю

⁴ Храпченко, ук. соч., 527

⁵ Там же, 548.

застенчивость и незащищенность многих гоголевских фигур. Кроме того, очень важно, что Гоголь замечает противоречия своих героев не только, так сказать, в плоскости характера как целого, но и в отдельных проявлениях их поведения, их внутренней жизни, в их отношениях друг с другом, т. е. в подробностях психологической разработки характеров и ситуаций.

В повести Вий рассказчик неоднократно подчеркивает, что Хома Брут, скачущий с непонятным всадником на спине, испытывает «какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство», «какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». И в этом странном, противоречивом состоянии открывает он красоту природы: траву, казавшуюся «дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря», слышит, «как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели», видит русалку, «всю созданную из блеска и трепета». Отвратительная старуха оборачивается прекрасной молодой девушкой, она же, лежа в гробу, вызывает в Хоме панический страх именно своей красотой. Все это: символическое воплощение мысли о единстве противоположных душевных ощущений — в рамках поэтической повести, затканной фантастико-мистическими мотивами.

В реалистическом окружении подобные противоречия могут рационально мотивироваться внешними обстоятельствами или человеческой природой, но они могут также и осложняться. Посмотрим, какое богатое и реальное психологическое содержание, какая динамическая психологическая ситуация выражается в одном из реалистических мест той же повести. О сотнике мы читаем следующее:

«... лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью»⁶. (2, 256).

Не только противоречия в узком смысле, но также и разные составные элементы и оттенки одного и того же чувства могут точно и метко передаваться в произведениях Гоголя. В повести Ночь перед Рождеством лицо Оксаны при виде Вакулы выражает одновременно и суровость, и издевку над смутившимся кузнецом, и едва заметную досаду; в голосе же Чуба, «награжденного» Вакулой толчком в плечо, чувствуется и боль, и досада, и робость. Гоголь замечает, что противоречивость душевного состояния может привести к алогичности, или к весьма своеобразной логике поведения. В Невском Проспекте Шиллер, чувствуя, что неприлично в нетрезвом состоянии показаться в присутствии Пирогова, уравнивает неловкость положения грубым обращением с офицером (в повторении этого мотива не только подчеркивается упрямство Шиллера, но указывается и на то, что Гоголь чувствовал меткость и новизну данного наблюдения). Но и майор Ковалев в рассказе Нос действует по своей логике, сваливая ответственность за исчезновение носа на ту г-жу Подточину, на которую он и без того злится, точнее, о которой он предполагает, что и сама имеет причину сердиться на него.

Гоголь замечает, что в известных случаях люди говорят совсем не то, что они думают, о чем следовало бы говорить. Чуб, увидя вылезавшего из мешка

⁶ Разрядка здесь и в дальнейшем моя — Л. К.

голову, хочет спросить: «как ты, голова, залез в этот мешок?», а сам не понимая, почему, выговаривает совсем другое и спрашивает: чем голова смазывает свои сапоги, смальцем или дегтем? Причины противоречия между мыслью, намерением и речью рассказчик не объясняет, читатель может толковать его, как ему хочется: смущением Чуба или его боязнью перед чином головы.

От внимания Гоголя не ускользают и многократные противоречия сознания, его повторяющееся самоопровержение. Посмотрим, например, отрывок из повести *Ночь перед Рождеством* содержащей, как можно было заметить, немало метких психологических наблюдений:

«Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решил остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. „Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!“ Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали».
(1, 150)

Мысль Чуба тут раза четыре вступает в столкновение с собой: 1., он хочет остаться дома, но 2., чтобы перечить куму, предлагает отправиться; 3. в ту же минуту он уже и досадует на себя за сказанное, но 4., утешается тем, что ему самому так хотелось, и поступил все же не так, как ему советовали, что, однако 5., (рассказчик об этом не упоминает, но читателю ясно) не совсем правда, независимо от того, осознает ли это Чуб, или нет. Противоречивые элементы сознания перерастают здесь в настоящий поток мысли; в изображении таких — у Гоголя, правда, не очень часто встречающихся — следующих друг за другом и опровергающих друг друга мотивов сознания проскальзывает диалектика души — одно их наиболее значительных художественных достижений Л. Н. Толстого.

Замечает Гоголь и то, что внутренние противоречия человека могут перерасти в противоречивость и даже принимать болезненные размеры.

Болезненные душевные противоречия⁷

Тема душевной противоречивости, переходящей в болезненность, не была неизвестной в России 30-х годов прошлого века; в журналах этого времени часто помещались статьи о сумасшедших⁸, тема же расстройства душевного равновесия занимала и самых выдающихся писателей эпохи, включая Лермонтова (Штосс) и куда менее «психологичного» Пушкина, автора *Пиковой дамы*. Интерес Гоголя к болезненным противоречиям души связан, по всей вероятности, с влиянием немецкой романтики, в первую очередь Э. Т. А. Гофмана.

⁷ Проблема изображения болезненных душевных явлений относится к тем немногочисленным проблемам психологического мастерства Гоголя, которым посвящены специальные исследования. Такова, например, статья И. А. Сикорского: *Изображение душевнобольных в творчестве Гоголя* (В сборнике: *Памяти Гоголя*, отд. II, Киев, 1902). Статья в основном устарела, но в ней имеются и полезные наблюдения.

⁸ Гиппиус В. В. Гоголь. Л., 1924, 91.

Тема эта выступает у него в повестях *Страшная месть*, *Портрет*, появляется в *Невском Проспекте*⁹, этой теме предназначалась важная роль в комедии *Владимир третьей степени*, во многом подготавливающей *Записки сумасшедшего* и лишь частично осуществленной.

Заметим, что тема крайней противоречивости человеческого сознания намечается и в таком, на первый взгляд совсем лишенном психологического содержания гротеске Гоголя, как рассказ *Нос* — по крайней мере, есть основание к такому, психопатологическому объяснению этого загадочного произведения. Герой этого рассказа, майор Ковалев страдает чуть не болезненной двойственностью: как мы уже отметили, его характеризует, с одной стороны, большое самолюбие и самодовольство, а с другой стороны, чувство собственной неполноценности и боязнь потерять уже достигнутое в жизни. Об этом свидетельствует чередование в нем настроений упрямства и отчаяния, агрессивности и смирения, свойственных ему, как можно предполагать, и до случившегося с ним несчастья. Однако тему раздвоенности в этом рассказе Гоголь не разрабатывает в психологическом плане, а переключает в плоскость фантастики и комизма: раздвоение своей личности Ковалев переживает преимущественно не психически, а физически: в потере носа, окончательно лишаящей его права считать себя равноценным с другими людьми. *Нос* Гоголя в некоторой степени предвещает *Двойника* Достоевского — не только постановкой темы душевной раздвоенности, но и способом ее художественной разработки. Правда, у Гоголя тема абсурдности мира в конечном счете берет верх над темой болезненной противоречивости человеческой души, преобладающей у Достоевского. Но у Гоголя уже налицо стремление сблизить изображаемый абсурдный мир и точку зрения героя с углом зрения рассказчика, что и приведет у Достоевского к слиянию действительности и фантастики, а вместе с тем и к весьма своеобразному аспекту освещения изображаемого.

Дальнейшее развитие тема душевной раздвоенности у Гоголя получает в повести *Записки сумасшедшего*, начатой писателем позднее *Носа*, хотя и законченной раньше его. *Записки* психологически конкретнее и глубже *Носа* и ближе к *Двойнику* Достоевского. Фантастика присутствует и здесь, но только в качестве продукта болезненного воображения героя, от имени которого повесть и написана. Конечная причина помешательства *Поприщина* по существу в том же, в чем причина физического раздвоения Ковалева: в неразрешимом противоречии между его честолюбием и подлинным положением, хотя это последнее несравнимо хуже положения Ковалева. Вытекающее из этого напряжение, однако, в *Записках* проявляется в своей непосредственной психологической реальности, без всякой авторской манипуляции. Особенно большое

⁹ Мы имеем в виду разлад Пискарева с самим собою и его самоубийство. Вряд ли можно согласиться с мнением, будто вся эта повесть представляет собой историю психически больных людей. Подобная точка зрения развивается в книге: Kent, Leonard J. *The Subconscious in Gogol' and Dostoevskij, and Its Antecedents*. The Hague—Paris, 1969, 76. 1969, 76. В связи с Пироговым о психической болезни можно говорить лишь в том смысле, как, напр., в связи с Ноздревым или другими эксцентричными, сатирическими фигурами Гоголя.

внимание Гоголь уделяет изображению усиления душевной болезни героя (об этом будет подробнее сказано в соответствующей части нашей статьи).

Психологическое своеобразие этой повести еще осложняется приоритетом и самостоятельностью комического начала, связанного с сатирической подосновой произведения. Комичность Записок, конечно, относительна: болезненные представления героя смешны лишь в глазах читателя, для Поприщина же все это — самая печальная правда, несмотря на известную преувеличенность и «тенденциозность», за которыми все время чувствуется притаившаяся личность автора. Все сводится к тому, что в реалистическом изображении болезненных психических явлений повесть Гоголя представляет собой значительное художественное достижение, тем более, что она свободна от ложного пафоса, мелодраматизма и сентиментальных преувеличений, свойственных романтическим разработкам этой темы. Всем этим, впрочем, повесть в значительной степени обязана комическому началу, в данном случае не мешающему естественности и жизненности психологического рисунка, а наоборот, способствующему им.

Монолог, поток сознания, импрессионизм

Записки заслуживают внимания и потому, что в них удачно используются монологи, следующие за свободным течением сознания. Дневниковая форма вносит в психологизм монолога некоторую условность, в общем, однако, не уменьшающую его достоверности и непринужденности. В частности, последние страницы повести производят впечатление не «письменной» речи, а непосредственно переживаемого душевного состояния:

«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат женя? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! [...] Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! — Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» (3, 263—264)

Так же непосредственно и непринужденно передается несвязная речь, отражающая помешанное мышление, в монологах Катерины в повести *Страшная месть* (значит, на этот раз не в сфере комического):

«Тс . . . тише, баба! не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи . . . ух, какие длинные! и горят, как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой и сын; кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала.

Ты хочешь, баба, сделаться молодою — это совсем не трудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую . . .» (1, 244—245)

а немного позднее:

«А у меня монисто есть, парубки! . . . а у вас нет! . . . Где мужмой? . . . О! это не такой нож, какой нужно . . . У отца моего далеко сердце, он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла . . . Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли. . . какой смех забирал меня . . .» (1, 245)

В психологически содержательных монологах гоголевских героев обращают на себя внимание две особенности. Во-первых, в монологах этих отражаются помешанные душевные состояния — т. е. они служат изображению болезненных противоречий души. Во-вторых, это — несмотря на вышеуказанную непринужденность и непосредственность — все же не «внутренние» монологи, а записанные или вслух произнесенные отрывки речи. Это характерно для Гоголя, который, как было отмечено, изображение внешних проявлений душевной жизни чаще всего все же предпочитает психологическому рисунку в собственном смысле слова.

Монолог — в частности т. н. «неправильный» монолог¹⁰ — у Достоевского и особенно у Толстого станет одним из главных средств психологического изображения. У Гоголя же использование монолога еще довольно ограниченное. Своеобразие монологического способа психологического рисунка в том, что рассказчик, вместо того, чтобы собственными словами анализировать душевное состояние героя, передает слово самому герою, тоже, собственно, не «анализирующего» себя, а непосредственно раскрывающего содержание своей души. Такая непосредственность психологического рисунка близка к тому способу изображения, когда рассказчик, хотя и говорит от собственного имени, в своей речи все же исходит из точки зрения героя. В подобных случаях может возникнуть впечатление, будто это изображается словами автора какое-то явление внешнего мира, на деле же речь идет о впечатлении, вызываемом в герое этим явлением. Такое, импрессионистическое сочетание внешнего мира и сознания героя имеет смысл, конечно, только тогда, если важно, что герой именно так видит или понимает окружающий мир. В конце XIX и начале XX века у Чехова или Андреева такой способ изображения станет одним из основных принципов метода, но в некоторых случаях его можно наблюдать уже и у Гоголя. Приехавший в усадьбу сотника Хома Брут замечает вершину горы, возвышающуюся на краю усадьбы:

¹⁰ На своеобразии «правильных» и «неправильных» монологов литературных героев впервые указал В. В. Стасов (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906. Л., 1929, 265). Об этом вопросе см. еще: Aucouturier, Michel. Langage intérieur et analyse psychologique chez Tolstoï. *Revue des Études Slaves*, tome XXXIV, 7—14; Edel, Lion. *The Psychological Novel 1900—1950*. London 1955, 27, 129.

«Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние» (2, 233)¹¹

Голая, глинисто-желтая гора может и объективно навевать подобное настроение, тем более такое впечатление вызывает она сейчас в Хоме, против обыкновения, не очень веселом, ведь перед ним эта гора и *de facto* и символически загораживает путь бегства. Рассказчик не говорит о том, что все это относится к Хоме, но из положения явствует, что важна не окраска горы или ее консистенция, а душевное состояние героя.

При помощи обезличения, мнимого отдаления от героя в цитированном отрывке передается не только тягостность впечатления от горы, но и посторонний, неопределенный характер этого впечатления, связанный с беспокойством Хомы и с тем, что по существу он все же занят другими мыслями. На такую неопределенность впечатления Гоголь указывает и в других случаях, больше того, подробно ее описывает, если этого требует природа душевного состояния героя. Мы можем привести два примера, описание двух, близких друг к другу психологических ситуаций. Так туманно, в таких фрагментах и блесках видит перед собой круговорот улицы Пискарев, погнавшийся за прекрасной незнакомкой:

«Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз . . . Не слыша, не видя, не внимая он несся по легким следам прекрасных ножек . . .» (3, 20)

В таких же смутных, неопределенных впечатлениях воспринимает круговорот бала «влюбленный» Чичиков:

«. . . ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдаль; скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки . . . она только одна белела и выходила прозрачную и светлую из мутной и непрозрачной толпы»¹². (5, 241—242)

¹¹ Ср. в повести Л. Андреева *В тумане*:

Сзади черной и глухо стонущей массой вздымался лес, а впереди тяжелая и черная, как мрак, принявший формы, надвигалась грозная туча. И под нею расстилалось поле ржи, и было оно совсем белое, и оттого, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх. (Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 7. М., 1913, 132).

¹² Ср. в рассказе А. П. Чехова *Дама с собачкой*:

«Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр . . .» (Чехов А. П. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 8, М., 1962, 401).

Импрессионистической эффектности описания не мешает ни комическое окружение данного текста, ни ироническое отношение рассказчика к любовному пылу Чичикова — мы уже видели, что у Гоголя комическая поляризованность вполне допускает возможность полноценного психологического углубления.

Значение импрессионистических описаний у Гоголя увеличивается тем, что они выступают не как самоцельные технические приемы, а как результат стремления изобразить неопределенные душевные состояния, колеблющиеся на границах сознания. Интерес Гоголя к бессознательному и подсознательному нельзя назвать принципиальным и широким, однако на некоторые его проявления необходимо указать.

Бессознательное и подсознательное у Гоголя¹³

Интерес к подсознательному — известная черта романтизма, хотя представители этого направления, как правило, ограничивались констатацией подобных душевных явлений и не брались за конкретную литературную разработку темы. В русской литературе явления подсознательного мира можно наблюдать уже у Жуковского, а затем и у некоторых прозаиков. Подлинное значение эта тема приобретет у Достоевского. У Гоголя мы уже коснулись ее и не только в связи с импрессионистическими мотивами его творчества: анализируя изображение душевной противоречивости, мы коснулись по существу и некоторых проявлений подсознательного или бессознательного (напр., в связи с противоречием между тем, что Чуб хочет говорить и тем, что он действительно выговаривает, или в бессвязной речи Поприщина и Катерины).

Помимо подсознательного в собственном смысле слова в литературном изображении заслуживают внимания некоторые психические явления на более низких ступенях осознанности, наблюдение которых свидетельствует о чуткости художника к оттенкам и полутонам внутренней жизни. «Бессознательность» или «полусознательность» психологических явлений в ряде случаев связана с ослаблением волевой деятельности человека¹⁴. Бывает, что психическая деятельность, движущаяся в основном как будто на уровне мышления, по какой-то причине все же ускользает от контроля воли, от внимания сознания, и вместе с тем слабеет и ее сознательность. Гоголь замечает случаи подобного расслабления

¹³ Тема подсознательного тоже принадлежит к числу относительно хорошо исследованных вопросов психологического метода Гоголя. См., напр., книгу Л. Дж. Кента, содержащую глубокий и многосторонний анализ данного вопроса (прим. 9.) В настоящей статье мы не коснемся ни вопросов психологии творчества, связанных с этой темой, ни вопросов ее символического толкования; ограничимся сообщением некоторых наблюдений над формами и функциями бессознательного и подсознательного в творчестве Гоголя.

¹⁴ Именно поэтому никак не следует отнести к области бессознательного и подсознательного такие явления душевного мира, как, например, «сокровеннейшие мысли» Чичикова, хотя они и «ускользают и прячутся от света» и их «никому другому не вверяет человек». Такие мысли все же подчинены волевой деятельности, решительно осознанным намерениям человека.

мысли и описывает их. Например, в Шинели: мы читаем о «значительном лице» следующее:

«... закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их». (3, 216)

Гоголь указывает на роль бессознательного в склонности к вранью, характерной для некоторых его героев. Ноздрев, например, рассказывая чиновникам о Чичикове, хочет сказать, что однажды нужно было приставить ему к вискам 40 пиявок, но он говорит 240— «200 сказалось как-то само собою» (5, 298). Бессознательная ложь для Ноздрева так же характерна, как и для Хлестакова, неспособного, по собственному замечанию Гоголя, «остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли»; «слова вылетают из уст его совершенно неожиданно» (4, 7). Но совершенно безвольно и «стихийно» лжет и хитрый, расчетливый Чичиков, наговаривая генералу о Тентетникове всякую неправду и сам не понимая, как и зачем, собственно, он это делает.

Для Манилова, увлекающегося пустыми мечтами, характерно, что его мысль очень легко ускользает от контроля сознания и разума:

«Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян». (5, 35)

Значение этого мотива в характеристике Манилова увеличивается тем, что в конце той же главы мотив повторяется, обогатившись новыми элементами:

«... мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромный дом с таким высоким вельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего он и сам никак не мог разобрать». (5, 55)

Наиболее характерными проявлениями подсознательного в собственном смысле слова в произведениях литературы являются сны и видения (психологически, впрочем, близкие к мечтаньям вроде маниловских). Романтики часто изображают сны и видения своих героев. Изображение снов можно найти и у Гоголя и нередко оно имеет психологическую функцию. Укажем на некоторые из таких снов гоголевских героев.

В кошмарных снах Катерины (Страшная месть) отражается ее смутное, тревожное отношение к отцу и мужу. Во сне Ивана Федоровича Шпоньки выра-

жается его страх перед женщинами и женитьбой. В повести Невский Проспект во сне Пискарева, занимающем значительную часть произведения, жизнь героя и его отношение к прекрасной, но развращенной незнакомке облекается теми идеальными, желанными красками, которых нехватает в действительности. В Портрете сон Чарткова, в мистико-фантастической форме переплетающийся с действительностью, свидетельствует о зараженности молодого художника жаждой денег, предвещая его будущую судьбу. В некоторых случаях психологический источник и смысл сна не так легко отгадываются; так, сон Левки в повести Майская ночь о спасении панночки-русалки от злой мачехи только косвенно может быть сводим к желанию героя побороть препятствия, мешающие его собственному счастью; в этом сугубо-романтическом произведении сказочное начало берет верх над чисто психологическим.

Перечисленные примеры свидетельствуют о том, что в снах гоголевских героев заторможенные переживания и желания существенной роли не играют (больше всего такую функцию можно наблюдать в снах Катерины); чаще всего в снах гоголевских героев оживают тревожные мысли и мечты, владеющие ими и наяву. Поэтому толкование снов героев Гоголя в фрейдистском духе не имеет под собой прочного основания и мало способствует правильному и многостороннему объяснению произведений писателя.

Некоторые приемы косвенной психологической характеристики

До сих пор мы отмечали преимущественно особенности прямой, непосредственной психологической характеристики у Гоголя. Нетрудно, однако, заметить, что в сновидениях гоголевских героев мы уже имеем дело с иным способом изображения внутреннего мира. В сновидениях изображение характера, душевного состояния или психологической ситуации как бы переносится в подсознательное; это, с одной стороны, конечно, непосредственная картина происходящего в душевном мире, но в то же время это — и своего рода символ его, т. е. разновидность «косвенного» психологического рисунка. Такое, «опосредствованное» построение психологического изображения не чуждо Гоголю. Как было уже отмечено, чаще всего автор не дает прямого объяснения психологического смысла изображаемых явлений, событий, судеб: итоги должны быть подведены самим читателем. Посредством такого именно метода могут быть показаны не только «очевидные», скользящие по поверхности явления внутреннего мира человека, но и его «сокровеннейшие» мысли, то, что «ускользает и прячется от света».

В некоторых произведениях Гоголя психологическая тема воплощается чуть не символически, в явно апсихологической фабуле и порой даже в нарочито схематических характерах и ситуациях. По существу это происходит в тех произведениях, сатирический гиперболизм и почти абсурдный комизм которых заранее суживает возможности непосредственного психологического анализа. Цель Гоголя в Ревизоре заключается, по видимому, не в достижении непосредственной жизненности и психологической достоверности деталей, а в создании своеобразной силы воздействия, вытекающей как раз из намеренной психоло-

гической условности и даже угловатости некоторых персонажей и ситуаций (поэтому, кажется, фигура Хлестакова возлагает такую трудную задачу на актера). Еще сильнее ощутимо противоречие между присутствием психологической темы и ее преднамеренной неразработанностью в рассказе Нос. Как было указано, в этом произведении проблема переносится в такую плоскость — в плоскость фантастического гротеска — где требование психологической достоверности неизбежно оттесняется на второй план; в результате первоначальную психологическую тему мы воспринимаем лишь сквозь призму абсурдно-гротескной символики.

Обратимся, однако, к примерам косвенного психологизма в непосредственно-реалистических произведениях Гоголя. Мы упомянули о том, что основным мотивом рассказа Старосветские помещики является психология привычки. Однако непосредственного психологического анализа в произведении почти совсем нет; скорее можно говорить об исключительно метком и подробном изображении внешних причин и последствий психологии героев: об изложении и описании жизни, обычаев, наружности, внешних особенностей предметного окружения и настроений, вызываемых этим окружением, об отношении двух стариков к прислуге, к гостям, о внешних признаках их привязанности друг к другу. И все же во всем этом с такой полнотой разворачивается перед нами образ мышления, эмоциональный мир, вся психология супругов, что история Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны воодушевила Белинского написать в связи с анализом рассказа нечто вроде самостоятельного психологического этюда, в котором привычку он называет «большой психологической задачей» и «великим таинством души человеческой»¹⁵. В повести Старосветские помещики психологическому содержанию служит вся сложная система художественных средств.

Немного «психологичнее», хотя все еще остается в рамках косвенного психологизма тот прием характеристики гоголевских героев, в котором мы узнаем о том, в чем они находят удовольствие. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, конечно, любят поесть и поспать, Манилов охотно предается своим пустым мечтаниям, что вытекает из всего строя их жизни и характеров. При помощи этого приема, однако, могут быть показаны и некоторые, труднее уловимые оттенки внутренней жизни человека. Афанасий Иванович, например, любит пошутить над Пульхерией Ивановной, слегка даже подтрунивая над ней, Ивану же Ивановичу доставляет удовольствие подробно и с притворным участием расспрашивать нищих, чтобы затем оставлять их без гроша милостыни. В первом случае улавливается наивное чутье юмора, скрывающееся за подлинным добродушием (и, конечно, очаровательное простодушие, принимающее всерьез подобные невинные шутки), в другом — бесчувственность и даже жестокость, притаившаяся под маской мнимой доброты, отвратительность которых не может быть оправдана и «идиотством» «героя».

Герои Гоголя часто выдают себя тем, что они обнаруживают в других лицах качества, не чуждые им самим. В губернских чиновниках Мертвых душ

¹⁵ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. I, М., 1953, 292.

Манилов видит «прекрасных» людей, Собакевич — одних мошенников; Манилов в восторге от Чичикова, Собакевич относится к нему с подозрением. В известных случаях подобные мнения одного из героев могут характеризовать обоих персонажей.

Много написано о том, каким образом характеризует Гоголь своих героев их речевой манерой. Внимание писателя иногда распространяется и на индивидуализацию эпизодических лиц таким путем (вспомним, например, полную повторениями, бестолковую речь мужика, у которого Чичиков справляется о пути в Маниловку). Меньше внимания обращалось на гоголевское мастерство психологической характеристики героев и ситуаций при помощи диалогов. А между тем писатель выступает тут настоящим — и непревзойденным и впоследствии — инициатором в русской литературе. Примеры можно было бы привести из тех же Мертвых душ (разговор Чичикова с Маниловым, Собакевичем, Ноздревым) или из Старосветских помещиков (напр.: разговор двух стариков о предполагаемом пожаре). Обратимся, однако, к роковому спору двух Иванов вокруг продажи ружья. Характерно то упрямство, с которым Иван Иванович то и дело возвращается в разговоре к вожделенному оружию, и та наивная хитрость, с которой он, притворно отказавшись от дальнейшей сделки, все же возвращается к ней в ту минуту, когда в другом, постороннем, вопросе (кто победит на войне) им как раз удалось прийти к согласию — так пытаюсь перехитрить своего не менее упрямого противника. Блестяще передается простоватый, но по-своему лукавый ход мыслей «двух идиотов» и в следующей части их спора. Иван Никифорович:

«— ... Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось, бекеши своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своей свиньей, а коли не хотите, так с чертом!» (и т. д., 5, 281)

Рассказчик (мнение которого, впрочем, не вполне совпадает с мнением самого автора) редко вмешивается в разговор своих героев; скрытые мысли, как и все содержание сознания должны выясниться из свободно текущей речевой манеры двух приятелей. В цитированном отрывке сказывается отмеченное выше умение Гоголя передать в речи персонажей непринужденность и непосредственность внутреннего монолога. При помощи всего этого писателю удается выразить не только то, что произносят его герои, но и то, о чем они умалчивают.

Мастером психологического изображения, не требующего и даже не допускающего подробного авторского анализа, является Достоевский. Как в других сферах художественного мастерства, и тут Гоголь во многом подготавливает почву для своего великого преемника.

Психические процессы и преобразования

Своеобразие психологического метода в значительной мере обусловливается восприимчивостью художника к более или менее продолжительным психическим движениям, процессам, преобразованиям, степенью важности указанных тем в его идейной системе и необходимости их подробного изображения. Первым крупным мастером «диалектики души» в русской литературе явится Л. Н. Толстой; этот метод он вырабатывает уже в повестях 50-х годов. Предшествующие Толстому писатели — современники Гоголя — еще мало интересовались психическими процессами; больше всего такое стремление можно наблюдать у Лермонтова в самоанализе Печорина.

В какой мере можно говорить о психологии внутренних процессов и их трансформаций в произведениях Гоголя?

Мы уже указали на некоторые места гоголевских произведений, где заметно стремление автора изображать процесс мышления героев, близкий к «диалектике души». Таких мест у Гоголя, конечно, очень немного. Указанные отрывки тоже не отличаются большой сложностью и пространностью. Темы и проблемы, интересующие писателя, а также типы, их воплощающие, как правило, не требуют подробного изображения ни движений и колебаний одного и того же душевного состояния, ни преобразования и развития характеров, ни формирования эмоциональных связей разных лиц. Известный психологический лаконизм писателя, его стремление уловить действительность преимущественно в ее внешних чертах сказывается и в этой области психологического изображения.

Тем не менее тема нравственного преобразования человека — наряду с другими морально-этическими проблемами — присутствует в произведениях Гоголя. Безумная любовь к прекрасной полячке заставляет Андрия изменить семью и родине. Тема душевной трансформации, таким образом, налицо в Тарасе Бульбе; другой вопрос, что анализ процесса, глубокое проникновение в его психологические причины в романтической повести по существу заменяется лирико-патетической экспрессией, передающей эмоциональные реакции рассказчика, ошеломленного происходившим. Душевная перемена Андрия происходит внезапно, неожиданно; в подобных ситуациях психологическое углубление и детализация оказываются — и лишними и невозможными.

То же самое можно наблюдать и в романе Мертвые души. Нам известно, что Плюшкин когда-то был образцовым хозяином и добрым отцом семейства, а затем — именно вследствие распада семьи — превратился в почти символическое воплощение полного одичания и бессмысленного скряжничества. Но это в романе лишь побочная тема; об изменении Плюшкина мы узнаем только из сжатого изложения; подробного анализа, очевидно, и в этом произведении не выдержали бы композиционные рамки данной главы. Таким образом, душевная драма, скрывающаяся за зловещей переменой Плюшкина, только в воображении читателя может приобретать более определенные очертания.

Немного больше в этом романе мы узнаем о том, каким образом Чичиков превращается в подхалима в школе, во вкрадчивого мошенника в жизни. Чисто эпическое изложение этого процесса в XI главе первого тома романа не растворя-

ется в психологической детализации хода превращения. В данной части романа, конечно, немало психологических наблюдений и психологической правды, но скорее в плоскости морализации, чем на уровне искусства.

Примерно то же самое можно сказать о роковой трансформации Чарткова в повести Портрет. В теме этого произведения скрывалась возможность большого романа развития: изображение превращения скромного и талантливое, но нетерпеливого художника в бездушного карьериста, в ярого врага подлинного искусства. Крупнейший недостаток повести, однако, заключается именно в ее психологической недоделке и композиционной непропорциональности. О психологической глубине, т. е. об изображении оттенков и ступеней метаморфозы характера Чарткова, о правдивом проникновении в подробности эмоционального и интеллектуального мира художника можно говорить примерно только до рассказа об окончании работы Чарткова над портретом богатой девочки. После этого темп повествования скачкообразно ускоряется; обо всем происходящем с героем и в герое мы узнаем лишь из безмерно сжатых сообщений рассказчика. Психологический рисунок, таким образом, обрывается именно на кульминационном пункте судьбы героя, в наиболее критическом с художественной точки зрения моменте повести. Следовательно, Гоголем была пропущена и возможность создания большого романа развития, а может быть, эту возможность писатель по сути и не намерен был использовать.

Было бы все же несправедливо утверждать, что в творчестве Гоголя совсем нет более подробного и художественно тщательнее выработанного изображения движений характеров и душевных перемен. Мы указали на то, что в Записках сумасшедшего в истории помешательства Поприщина, Гоголь стремится строго соблюдать требования непрерывности и постепенности.

Что в голове Поприщина, «понимающего» разговор собачек, не все в порядке, выясняется уже в середине записки первого дня, и даже начале этой записки: в словах начальника отделения есть намек на то, что болезнь героя не совсем нова. Однако после этого довольно продолжительное время (до того момента, когда Поприщину кажется, что он нашел переписку собачек) явления и впечатления действительности воспринимаются им в основном реально; так же реально оценивает он и свое собственное положение. Чтобы обеспечить впечатление «процессуальности» и «плавности» изображения, Гоголь прибегает к приему «мнимого возвращения к прежнему состоянию». Болезнь Поприщина начинает заметно усиливаться только тогда, когда (в записке от первого декабря) он высказывает мысль, ставшую впоследствии его манией: отчего он сам титулярный советник, когда мог бы быть и графом или генералом. С этого времени записки его становятся все более запутанными; постепенное усиление навязчивой идеи сопровождается неудержимым помрачением его рассудка. То, что в этом состоянии некоторые явления жизни, и раньше ему не безразличные, он оценивает трезвее и правильнее, чем в здоровом состоянии (напр., подлинный облик своего начальника он постигает только теперь) — важно для нас не только с точки зрения общественной сатиры, как основной тенденции произведения, но и в психологическом отношении, как доказательство того, чего Поприщину раньше не смел увидеть и по достоинству оценить. В изображении помрачения

рассудка — психического процесса, трудно поддающегося рациональному контролю — выбор содержания сменяющих друг друга фаз и отдельных представлений зависит только от авторской воли и фантазии; достоверность такого изображения может быть проверена лишь на субъективно-интуитивной основе, или, так сказать, на уровне непосредственного впечатления, вызываемого в читателе. На таком основании можно, однако, утверждать, что с трудной художественной задачей изображения сложного и загадочного внутреннего процесса в этой повести Гоголь полностью справился.

Проблема изображения психического процесса успешно решается Гоголем и в повести Невский Проспект, где одной из центральных тем является углубление разлада Пискарева с действительностью и самим собой. Заслуживает внимания в данном отношении и повесть Вий.

В этом произведении, главную идею которого мы усматриваем, как было уже отмечено, в изображении и внушении психологии ужаса и беззащитности (что в известной степени сближает эту повесть с Шинелью), Гоголь блестяще передает постепенное усиление страха в Хоме, отданном на произвол сверхъестественным силам. Процесс усиления ужаса и чувства беззащитности изображается преимущественно средствами композиции. Художественное достоинство повести возрастает в результате того, что правдивое изображение этого психического процесса осуществляется в фантастико-романтическом окружении, или, по крайней мере, в его постоянной близости¹⁶.

¹⁶ В связи с «романтическим окружением» психологического рисунка в Вие — и для большей полноты наших представлений о психологическом мастерстве Гоголя — стоит вспомнить, что в творчестве Гоголя, наряду с прогрессивными с историко-литературной точки зрения тенденциями есть и свойства, составляющие своего рода «тупики» развития психологизма. Таково, например, в рассказе Вечер накануне Ивана Купала описание угрызений совести Петра, вступившего в союз с нечистой силой и совершившего страшное преступление. То, что и время не в силах освободить Петра от смутного сознания мучащего его душу ужаса, рассказчик дает почувствовать в описании смены времен года; в этом описании заметно влияние народной поэзии, что еще усиливает элемент романтической стилизации; изображение же душевного состояния героя строится на типично мелодраматических эффектах:

«Одичал; оброс волосами; стал страшен; и все думает об одном, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово — и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им, как полуумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытьи, а после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука...» (1, 74)

Подобные романтические крайности можно найти и в более поздних произведениях Гоголя. Вспомним, например, описание бешенства художника (создателя рокового портрета) во второй (фантастико-романтической) части повести Портрет:

«Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в комнате, намереваясь изрезать его в куски и сжечь». (3, 164)

Мы уже говорили о том, каким образом в повести Тарас Бульба непосредственно-реалистическое изображение душевной перемены Андрия заменяется патетической, лирико-

Со времени первых припадков ужаса (при появлении ведьмы, во время таинственного ночного полета и при его ужасающем окончании) до гибели героя Гоголь показывает целый ряд вариантов настроения, овладевающего Хомой — от непонятных, противоречивых чувств (о них мы уже говорили выше) и от «странного волнения и робости» через «какое-то уныние» и «безотчетный страх» вплоть до окончательного бессилия Хомы противостоять ужасам, обступающим его со всех сторон. Одним из повторяющихся моментов этого процесса является постоянное стремление Хомы всеми силами души успокоить себя, что более или менее и удается ему до последней ночи, несмотря на непрерывное нарастание ужасов. Чувство страха колеблется: в согласии с основным принципом построения повести кошмар ночей сменяется впечатлениями и деятельностью самых обыкновенных дней. Но усиление ужаса можно все время измерять и в дневной жизни Хомы: в день после первой ночи в волочашемся за бабами Хоме мы еще видим прежнего, беспечного и веселого парня и только нарастание его задумчивости к вечеру свидетельствует о присутствующем в нем страхе — после второй ночи в его слишком долгой пляске предвещается ужас предстоящего бдения; в конце первой ночи петушиный крик еще дает ему силы быстро дочитать текст молитвы — после второй ночи «вошедшие сменить философа нашли его едва жива». Впрочем, Гоголь и тут все время подчеркивает внешние, физические признаки усиления страха (этот прием отчасти восходит к мелодраматичности романтического психологизма, но получает уже новую функцию): сначала голод заставляет Хому на несколько минут позабыть вовсе об умершей и даже после первой ночи за обедом он еще успокаивается — после второй ночи он седеет, что еще более усиливает его тревогу. В изображении нарастания ужаса Гоголь оказывается по преимуществу «стихийным» психологом; но именно благодаря этому отдельные психологические моменты гармонически сливаются с движением внешнего действия, построенного на чередовании мистического ужаса ночей и реальности дней, доходящей до комизма. Условности психологического рисунка связаны с мистико-фантастической подосновой повести, достоинства же его проявляются в реалистическом видении мира, пробивающемся сквозь романтическую оболочку.

Некоторые итоги. Место Гоголя в развитии психологического изображения

Хотя Гоголь никогда не смотрит на психологическое изображение как на самодовлеющую художественную задачу (даже в такой повести, как Записки сумасшедшего, развертывающейся в основном в психологическом окружении, он ставит перед собою более широкую, общественно- и морально-обличительную цель), все же многие его психологические темы и художественные сред-

романтической экспрессией. Подобная театральность в присущих ей условиях может быть художественно мотивированной и приемлемой, но в свете реалистических тенденций гоголевского психологизма она теряет свое художественное значение. Поэтому наша статья и не ставила целью анализ подобных мотивов психологического метода Гоголя.

ства, служащие художественному выражению этих тем, обозначают новое слово в развитии психологического изображения в русской литературе, если не подготавливая, то по крайней мере предвещая ряд особенностей и тенденций творчества Толстого, Достоевского, Чехова и новейшей литературы. Если у Достоевского изображение душевной раздвоенности или подсознательного, у Толстого исследование диалектики души, у Чехова черты импрессионистического психологизма связаны с основами художественного видения и закономерно необходимы для многостороннего объяснения человека или для полноценного художественного воплощения поставленных проблем, то у Гоголя все это скорее лишь предчувствие необходимого в будущем, лишь признак чуткости художника к возможностям искусства, вызванные стремлением к возможно более полному отображению действительности. Для осуществления этого стремления Гоголь часто использует достижения романтического понимания человеческой души и средства романтической композиции и стилистики. Этим объясняется, например, интерес писателя к аномалиям внутренней жизни человека. Однако в его произведениях, претендующих на реалистическое воспроизведение жизни, темы, взятые у романтиков, приобретают, как правило, реалистический смысл. В связи с этим в психологическом методе Гоголя — впрочем, трудно поддающемся систематизации или классификации — хорошо ощутим переход от романтики к расцвету психологического изображения в творчестве вышеуказанных классиков. Этому расцвету творчество Гоголя, конечно, не способствовало в такой степени, как созданию метода реалистического отображения проблем и соотношений внешней, общественной действительности. Все же, благодаря смелости художника, позволившей введение в литературу таких душевных явлений, к которым более «психологичные» современники не проявляли интереса, а в некоторых случаях благодаря выработке хотя бы одного из возможных решений методологических проблем психологического изображения, Гоголь сыграл немаловажную роль в развитии психологической струи русской классической литературы. Как в психологическом методе его современника Лермонтова, так и в психологических мотивах произведений Гоголя можно наблюдать исчезновение границ между романтикой и реализмом, в частности, между романтической формой и реалистической функцией, между романтической отправлением и реалистичностью результата. В творчестве Гоголя, не вполне свободном от романтических крайностей и схем, чаще всего реалистическое значение все же приобретают не только необыкновенные для того времени нововведения (напр., импрессионистический способ психологического рисунка), но и темы и средства, почерпнутые писателем из опыта романтики. Подобные достижения гоголевского мастерства, несмотря на психологический лаконизм рассказчика, все же способствуют более глубокому психологическому познанию человека.

**Romantik, serbische Volksdichtung, ungarische
Literatur**

I. FRIED

Zur vollwertigen Rezeption der serbischen Volksdichtung und der Volksdichtung überhaupt in die ungarische Literatur mußte zunächst die romantische Literaturtheorie entfaltet und in der Praxis durchgesetzt werden. Der Theoretiker Ferenc Toldy bekommt den serbischen Volksliederband von E. Wesely in die Hände, als die ungarische Literatur mit Mihály Vörösmarty eindeutig die Bahn der Romantik einschlägt. Der Dichter—Redakteur Mihály Vörösmarty öffnet den Besprechungen der verschiedenen slawischen Bestrebungen die Spalten der Zeitschrift *Tudományos Gyűjtemény*, als er einen Teil seiner romantischen Epen, Balladen und historischen Dramen schon geschrieben hat. Die serbische Themen behandelnden Publikationen des Blattes *Tudománytár* fallen zeitlich mit dem Erscheinen des Bandes von József Székács: *Szerb népdalok és hősrégék* [Serbische Volkslieder und Heldensagen] (1836), mit dem endgültigen Sieg der romantischen Literaturtheorie zusammen. Die serbische Volksdichtung ist ein ständiges Beispiel für die den Klassizismus definitiv aufhebende Auffassung, für die dem selbständigen Nationalstaat dienende Literatur.

In den 1820er Jahren schreiben die Theoretiker — nicht nur Ferenc Kölcsey in seiner Abhandlung: *Nemzeti hagyományok* [Nationale Traditionen], sondern auch andere manchmal in ziemlich unbedeutenden Studien — von den überlieferten Traditionen der neuen, gemeinschaftsbezogenen, nationalen Dichtung. Sie umreißen eine Literatur, die die „nationalen Traditionen“ würdig fortführt und zugleich auch den nationalen Charakter zum Ausdruck bringt. Wir können in Ostmitteleuropa einen Prozeß beobachten, der die nationalen Eigentümlichkeiten immer markanter prägt, und der neben den einseitig adeligen Zügen immer mehr den durch die Volkstradition bewahrten historischen Charakter hervorhebt, bzw. die Aussagen der Volkssage, des Volksliedes und der Volksballade als eigentümliche Offenbarungen der Nation auslegt. Während der Volksliedersammler Ján Kollár in der Volksdichtung eine Quelle der wissenschaftlichen Erhebungen sieht („So eignen sich diese, dem Volksmunde abgelauschte Gesänge nicht nur zu angenehmen Unterhaltung und Gemüthserheiterung für Gebildete und Ungebildete, sondern sind obendrein für den Ethnologen, Mythologen, Archäologen, den Historiker, Dichter, Tonkünstler, den Sprachforscher, ja sogar den Botaniker wichtig und merkwürdig“)¹, messen

andere der Volksdichtung eine größere Bedeutung bei, und lassen sie im Vergleich mit der Wissenschaft in keinem subordinierten Verhältnis erblicken. Der Übergangscharakter kann am Kollárs Beispiel gut illustriert werden. Er führt die romantisch ausgelegte Auffassung über die Volksdichtung von Šafárik und Herder fort, identifiziert sich aber mit der Meinung der Brüder Grimm und der Brüder Schlegel nicht. Bei ihm trägt die Volksdichtung die bestimmenden Merkmale der Nationalcharakterologie noch nicht, diese müssen daraus erst erschlossen werden. Und diese Aufgabe harret keines anderen als nur der Gelehrten. So kann es uns nicht wundernehmen, wenn er die Nation wie folgt bestimmt: „Slovo národ vyznamenává spoločenství takových lidí, který svazkem jedné řeči, rovných mravů a obyčejů spojení jsou.“² Die Charakteristika der Slawen sind die folgenden: „Nábožnost, pracovitost, nevinná veselost, milování své řeči, snášenlivost naproti jiným národům.“³ Auch diese Charakterisierung wurde in der Polemik um die nationale Idee geboren: man muß Kollár auch als Dichter des epischen Gedichts *Slávy dcera* und als Kämpfer gegen das „neidische Teutonien“ und das Ungartum sehen. Es ist Tatsache, daß die nationalen Charakteristika zu Beweisen für die Selbständigkeit, die Eigenständigkeit werden. Den nächsten Schritt tat S. Hoič in seinem von Kollár angeregten Flugblatt unter dem Titel „Sollen wir Magyaren werden?“⁴ Hoič möchte dokumentieren, daß die Slowaken ein Recht auf die nationale Existenz haben, da sie eine selbständige Nationalcharakterologie besitzen: „So wie jede Nation eine besondere Sprache hat, eben so hat sie auch einen besondern Charakter, ja besondere Tugenden, eine ihr eigenthümliche Denkungsart; wenigstens tragen diese Tugenden und diese Denkungsart eine ganz eigene Farbe.“ Im weiteren beantwortet Hoič die Fragen, die von den ungarischen Theoretikern gestellt wurden: „Was ist denn das: Volk, Volksthümlichkeit, Nationalität? Ich frage nach Worten, die das ewige Lösungswort, der Hebel aller, sowohl der thörichten als der vernünftigen Bemühungen der heutigen magyarischen Schriftsteller sind: möchten sie bedenken, dass die inhaltsschwere Bedeutung dieser Worte, eben so gut dem Slaven, Deutschen, Walachen am Herzen liegen, wie dem Magyaren.“ Später weist er auf die Komponenten der Nationalcharakterologie hin, unter denen das Volkslied und der Volksbrauch eine nicht geringe Rolle spielen: „Nicht nur dieselbe Sprache, sondern eben so wesentliche Ingredienzen dieser Begriffe, sind die, jedem Volk eigenthümliche Sitten und Gewohnheiten. Dieselben vorherrschenden Tugenden, dieselbe Neigungen, gleiche Vorurtheile, ein eigenthümlicher Aberglaube machen eben so viele Bande für eine Nation aus; sogar Nationalspiele, Nationallieder und Nationaltracht, die an sich betrachtet, als Kleinigkeiten erscheinen dürften, sind nothwendige Bildungsmittel und bestimmende Eigen-

¹ *Vereinigte Ofner-Pester Zeitung* 35(1834) I. Nr. 8.; *Bote von für Ungarn* 2 (1834) Nr. 9., 13. Vgl I. Fried: Die ungarische literarische Volksthümlichkeit und die slowakische Folklore. *Studia Slavica* 15 (1971) 134-135.

² *Dobré vlastnosti Národu Slowanského. Dwoje kázany od Jana Kollára. Pesst 1822.* Vgl. J. Tibenský (hrsg.): *Chvály a obrany slovenského národa.* Bratislava 1965.

³ Tibenský: op. cit. 186.

⁴ Fried: *Prispevok k poznaniu Jána Kollára a jeho pest'budinských spolupracovníkov.* In: *Biografické štúdie* 2. Martin 1971, 37-39.

schaften eines Volks. Daher der grosse Unterschied zwischen den Nationen. Denn die Lebensart, das Clima und der Genius eines Volks wirkt auf die Bildung seiner Begriffe von Dingen, auf sein gesammtes Gedanken- und Phantasie reich mächtig ein.“ Es ist lehrreich, wie diese Ausführung den Begriff der französischen Aufklärung von Nation und Volk sowie Herders Lehren vom Volksgeist, von dieser bald liberal, bald mystisch ausgelegten Schöpferkraft, umfaßt. Das nächste Zitat erweist die Konkretisierung der allgemeinen Ausführungen: „Es ist bekannt, welche einen unvergleichlichen Schatz an Volksliedern, Sprichwörtern, Lebensmaximen und Erzählungen die Slowaken in ihrer Sprache haben, die sich in eine fremde Sprache unmöglich übertragen lassen; sollen diese alle auf ewig untergehen? Dies wäre eine Versündigung gegen die Menschheit.“⁵ Der Gedankenlauf von Hoič ist einerseits von den ungarischen *literarischen* Polemiken, andererseits von den Auffassungen über die serbische Volksdichtung unzertrennbar. Nicht nur, weil er auch selbst sich auf das Bestreben der ungarischen Schriftsteller bezieht, die bemüht sind, den Nationalstaaten aufbauenden Absichten Material zu liefern, und parallel damit eine vom klassizistischen Ideal des „Rein-menschlichen“ grundverschiedene, national geprägte Literatur zustande zu bringen. Hoič beobachtet, was ein Theoretiker von heute wie folgt schildert: „Die Einprägungen der nationalen Ideologie versteifen sich im Vormärz, und da sich das nationale Selbstbewußtsein und die Literatur von da an in einer unzertrennbaren gegenseitigen Bedingtheit entwickeln und wirken, wird auch das, was das Werden einer Nation, bzw. die Stabilisation der Nationalexistenz fördert, was sie behindert, und was in diesem Prozeß indifferent ist, (nicht selten sogar in bedeutendem Maße!) zu bestimmenden Wertmessern der Literatur“⁶. Darauf zielen auch die Polemiken des Blattes *Kritikai Lapok*: die theoretischen Schriften der Mitarbeiter der Zeitschrift stellen sich die Aufgabe, eine Nationalcharakterologie neuen Typs durch die Literaturlauffassung zu prägen. Die Polemiken gegen Ferenc Kazinczy und Károly György Rummy stellen einer im Schwinden begriffenen Haltung und Literaturlauffassung die romantische Eigengesetzlichkeit und die Literatur von betonter nationaler Ideologie gegenüber. Diese literarischen Polemiken bekamen auch in den slawischen Flugblättern Raum, so z.B. in dem von M. Kunits,⁷ der den Artikel von Károly György Rummy aus der Zeitung *Pressburger Aehrenlese*⁸, zitiert, und sich gegen die Angreifer von Ferenc Kazinczy erklärt, obwohl er die Rolle der National-Lieder (bei ihm heißt das Lieder in der Nationalsprache *und* Volkslieder) mehr als Kazinczy betont. Die Popularität der serbischen Volkslieder in Europa, sowie die Meinung von J. Grimm und Goethe unterstützten die Auffassung eines anderen Flugblattes, der Schrift von L. M. Šuhajda:⁹ „Bei andern Völkern dichten und singen nur die

⁵ Sollen wir Magyaren werden? Fünf Briefe geschrieben aus Pesth an einen Freund an der Theiss von D. H. Karlstadt 1833.

⁶ I. Fenyő: Az irodalom szerepe a reformkori Magyarországon. [Die Rolle der Literatur im Ungarn des Reformzeitalters.] In: *Nép, nemzet, irodalom*. (Volk, Nation, Literatur) Budapest 1973, 11.

⁷ Reflexionen über die Begründung der Magyarischen Sprache in Ungarn, Staats- Dikasterial- und Gerichts- wie auch als allgemeine Volkssprache von Michael Kunits. Agram 1833.

⁸ 1831. Nr. 32.

⁹ Der Magyarismus in Ungarn in rechtlicher, geschichtlicher und sprachlicher Hinsicht, mit Berichtigung der Vorurtheile, aus denen seine Anmassungen entspringen. Leipzig 1834.

Gelehrten und Gebildeten, bei den Slaven dichtet und singt das ganze Volk.“ Die Quellen von Šuhajda geben ein, daß er in erster Linie an die Serben, bzw. an die Slowaken dachte.¹⁰

Es stellen sich die Fragen: woher stammt dieser romantisch umgeprägte und romantisch geladene Nationalbegriff, und wie nimmt die Volksdichtung ihren Platz unter den Unterscheidungsmerkmalen ein?

Die ungarische Forschung hat diese Fragen größtenteils beantwortet, indem sie die Fäden von Rousseau und Herder die Demokratisierung des Originalitätsideals bis zu den 1840er Jahren, bis János Erdélyi, der Volksliederbände zusammengestellt und herausgegeben hat, führte. Am Ende des 18. Jahrhunderts erzielte die Aufforderung, Volkslieder zu sammeln, noch keinen Erfolg. Das bedeutete jedoch nicht einen Mangel an Interesse für die *Volksliteratur* und die *volkstümliche* Literatur. Auch aus dem Werk von Rousseau: *Considérations sur le gouverneman de Pologne* konnte die ungarische adelige Intelligenz lernen, daß „das Volk der Hauptbewahrer der Nationaltraditionen sein kann. Auch Rousseau nach wurde das Programm ausgebaut, nach dem das Volk, das Bauerntum, die Hüter des Alten, des Urtümlichen, des Traditionellen ist. Darum kann also der Adel, der den Kern der feudalen Nation darstellt, nur durch die Gewinnung des Bauerntums und durch die Aneignung der durch das Bauerntum gehüteten Sprache, Traditionen und Bräuche den Weg zur selbständigen Nation, d.h. zur Herausbildung der bürgerlichen Nation antreten“.¹¹ Die ungarische und die polnische Literatur ging den Weg dieses Programms der „Interessenvereinigung“. Die slowakische und die serbische Intelligenz, die den feudalen Staat „bewohnbarer“ machen wollte, kam aus anderen Gründen zur Entdeckung der Volkstraditionen. Sowohl die slowakische als auch die serbische Intelligenz erkannte, daß die theologische Tradition dem gegenwartsnäheren Denken auch sprachlich Fesseln anlegt, und daß die hergebrachte Terminologie nicht geeignet ist, die Herausforderung der europäischen Aufklärung auf entsprechende Weise zu erwidern. Die slowakische und die serbische Intelligenz stammte nicht aus den feudal gebundenen oder diese Gebundenheit von innen aus auflockernden Schichten. Sie erwarb ihre Bildung in kirchlichen Schulen und studierte meistens auch Theologie, kann aber in den neohumanistischen Lyzeen Ungarns, bzw. an den Universitäten Deutschlands auf die Ausführungen von Rousseau und Herder¹² auch unmittelbar aufmerksam gemacht worden sein.

Einer der Begründer der Slawistik, der Slowene Kopitar, schrieb schon — neben der Heraufbeschwörung von Schläzer — im Geist des sog. „slawischen Kapitels“ von Herder.¹³ Er wies darauf hin, daß die Slawen in der Geschichte vom 6. Jahrhun-

¹⁰ Siehe die ethnographische Schriften von Johann Csaplovics, die Studie von Endre Thaisz in der Zeitschrift *Tudományos Gyűjtemény* (Jg 11. 1827. Bd. II. S. 103–104.)

¹¹ J. Szauder: *Felvilágosodás és romantika határán.* (An der Grenze zwischen Aufklärung und Romantik.) In: *Eszmei és irodalmi találkozások.* (Ideologische und literarische Begegnungen) Hrsg. von B. Köpeczi und I. Sótér: Budapest 1970, 89.

¹² H. Sundhausen: *Der Einfluss der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den Völkern der Habsburger Monarchie.* München 1973.

¹³ *Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark.* Laibach 1808. Nachdruck: München 1970.

dert an figurieren, und er stellt mit nicht geringer Stolzheit fest: „ihre Sprache ist völlig europäisch“. Er apostrophiert die Slawen als „friedliche Ackerleute“, die „im Bewusstsein ihrer Unschuld vergessen hatten auf Kriegsfälle vorzudenken, im Süden von Madjaren und Türken, im Westen von Deutschen, und im Osten von Mongolen — zwar nicht zu gleicher Zeit, aber mit desto gleicherem Erfolge — unterjocht wurden, und dass nun an Throne, und in allen Staatsfunktionen die Sprache des ausländischen Siegers herrschte, die arme eingeborne aber in die Hütte des leibeigenen erklärten Besiegten verwiesen ward.“ Merken wir in diesen Ausführungen darauf auf, was Kopitar, der sich an den Klassizismus noch mit so vielen Fäden bindet, wider seinen Willen betont: die einheimische Sprache fand in den Hütten der Besiegten, der Leibeigenen, ein Zuhause, also soll auch die Erneuerung aus diesen Hütten ausgehen — folgt aus den Sätzen Kopitars und auch seiner Haltung den sprachlichen Reformen von Vuk Karadžić gegenüber. Die Schriften von Kopitar, bzw. die die Volkstraditionen für wertvolle Altertümer, wertvolle Sprachdenkmäler gehaltenen Werke von Dobrovský wurden dann in die Argumente der Schriftsteller der slawischen Völker aufgenommen, und tönnten so das von Rousseau und Herder geprägte Ideensystem.

Mit gewisser Zeitverschiebung kam das Bedürfnis, Nation, Volk und Staat neuartig zu definieren, in den politischen, historischen und im engeren Sinne genommenen literarischen Werken des ungarischen Volkes und der verschiedenen slawischen Völker im Zeichen der Romantik hoch. Die Volksliederbände von Vuk Karadžić erschienen zu der Zeit, in der sich auch Ferenc Kőlcsey an die Romantik orientierte. Die erste vom Blickwinkel unseres Themas wichtige Schrift von Kollár stammt hingegen aus dem Jahre 1821,¹⁴ und erst seit der Mitte der 1820er Jahre begann die volle Erarbeitung der Ideologie zunächst des ganzen Slawentums und noch später — hauptsächlich mit Štúr — der des Slowakentums. In der tschechischen Literatur betreten Hanka und Čelakovský nach 1817 den Weg, der dem von Kőlcsey ähnlich ist, wobei sie durch die literaturhistorische und lexikographische Praxis Jungmanns gefördert werden.

Mehrere Ideensysteme und Stile stauen sich ständige Polemiken, Diskussionen, Widersprüche, kühne Sprünge vorwärts und stille Rückzieher folgen einander. Es ist eine Besonderheit der ostmitteleuropäischen Zone, daß die ausgesprochen politischen Ansichten nicht selten im Gewand von Stildiskussionen, sprachlichen Polemiken verhüllt auftreten. Wenn Vuk Karadžić die Sprache der in Pest erscheinenden serbischen Zeitungen bemängelt und die Affektiertheit von Vidaković zur Sprache bringt, erhärtet er seine Meinung mit der Volkssprache, der volkssprachlichen Terminologie, und betont die demokratischeren Aufgaben der Literatur, die Notwendigkeit, die charakterlos-eintönige Literatur mit einer Nationalideologie zu durchtränken.¹⁵ Es ist eine andere Frage, daß der Almanacherausgeber Vuk Karadžić sein eigenes Programm nicht durchführen konnte. Die Bände der Danica verkörperten nicht

¹⁴ Etwas über die Magyarisierung der Slaven in Ungarn. In: H. Zschokke: Ueberlieferungen zur Geschichte unserer Zeit. Aarau 1821, 552—558., Nečo o pomad'arowány Slowanů w Uhrách (Z nemeckého od W. Hanky.). Čechoslaw 1822, č. 8—9.

¹⁵ D. Kadach: Die Anfänge der Literaturtheorie bei den Serben. München 1960. Popović, Miodrag: Istorija srpske književnosti. . . Romantizam I. Beograd 1968.

immer das Sprach- und Stilideal der Romantik.¹⁶ Oder ein anderes Beispiel: Ferenc Kazinczy sprach sich bitter gegen die Lobhuder des „pantherfellbekleideten Árpád“ aus. Dabei kritisierte er vielleicht nicht so sehr das Epos von Vörösmarty Zalán futása [Zalán's Flucht (1825)], sondern viel mehr István Horváts vage Vorstellungen über die ungarische Frühgeschichte oder Ferenc Toldys romantisch getönte ästhetische Schriften über die Epen von Vörösmarty.¹⁷ Auch Dobrovskýs Einwände gegen die „Entdeckungen“ von Hanka waren nicht ästhetischen Charakters, sondern die aus den „Entdeckungen“ strömenden, ins Volkstümliche und Historische umgeprägten romantischen Vorstellungen von Volk und Nation mißfielen ihm. Schließlich weisen wir auf das Vorwort von Mickiewicz hin, das er zu seinem im Jahre 1822 in Wilna erschienenen Band geschrieben hat,¹⁸ in dem er im Namen der romantischen Theorie für die Volkspoesie Stellung nahm, und sie mit der nationalen Dichtung identifizierte. Das Vorwort diskutiert mit dem Klassizismus von Warschau, der den Platz der Dichtung im Leben der Nation immer noch auf eine für die Vergangenheit typische Art und Weise sah.

Über die Neuartigkeit der angedeuteten ästhetischen Gedanken Geschriebenes steht in keinem Widerspruch dazu, daß die Wurzeln dieser romantisch gefärbten „Volkstümlichkeit“ tief in der Vergangenheit liegen:¹⁹ darüber sagen nicht nur solche Tatsachen aus, daß eine der Quellen der Grünberger und der Königinofer Handschriften die sich mit der Volksdichtung berührende Epik von Kačić-Miošić ist, oder die Entdeckung von Ferenc Toldy und Ján Kollár im Zusammenhang mit der Reimepik des 16—17. Jahrhunderts. Gerade dadurch, daß der Zug des Alten durch das Volkstümliche in den Vordergrund rückt, wird die Tradition fortgesetzt und die Botschaft der zur Auferstehung bereiten nationalen Vergangenheit an das Heute übermittelt.

Die serbische und die ungarische Literatur definierte den Dienst an der Nationalbewegung unterschiedlich. Die Sammeltätigkeit und die Wörterbücher von Vuk Karadžić in Zusammenhang mit der Volksdichtung gehen der Entstehung der Theorie der Volkstümlichkeit voraus. In der ungarischen Literatur hingegen kam es zunächst zu einer theoretischen Klärung, und erst in den 1840er Jahren wird die sich zu einer Tendenz ausbreitende Volkstümlichkeit zu einer Sammlung im ganzen Lande führen. Das bedeutet in der Berührung der beiden Literaturen, daß sich die ungarischen Dichter oft um Lehren an die serbische Volksdichtung wenden, und der Sache der ungarischen Volkstümlichkeit mit ihren Übertragungen und Nachdichtungen dienen. Die serbische Presse verfolgt mit Aufmerksamkeit die Anregungen der ungarischen Literatur, und erblickt das befolgenswerte Beispiel in dem früher entfalteten unga-

¹⁶ Danica. Zabavnik za godinu 1826. Izdao Vuk Stef. Karadžić, U Beču: Sabrana Dela Vuka Karadžića. Knjiga ošma. Beograd 1970. Priredio: M. Pavić.

¹⁷ Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály epikus munkáiról, némelly bevezető észrevételekkel. (Aesthetische Briefe über die epischen Arbeiten von Mihály Vörösmarty, mit einigen einleitenden Bemerkungen) Tudományos Gyűjtemény 11—12 (1826—1827).

¹⁸ Poezje 1822.: O poezji romantycznej.

¹⁹ L. Sziklay: A „népiesség“ néhány közép- és kelet-európai nemzet romantikájában. (Die Volkstümlichkeit in der Romantik einiger mitteleuropäischer und osteuropäischer Nationen) In: Szomszédainkról. (Über unsere Nachbarn.) Budapest, 1974, 150—164.

rischen ästhetischen Denken und den ungarischen volkstümlichen literarischen Produkten. Die ungarische Literatur machte sich bei der eigenen Selbstverwirklichung die serbische Volksdichtung durchaus zunutze. Sie prägte sich — aus dem serbischen volkstümlichen Original — den eigenen Bedürfnissen gemäße Gattungen, assimilierte Themen, bzw. Bearbeitungsweisen. Die sich in erster Linie in Pest herausbildende serbische Literatur und Presse versuchten sich durch die Übertragung ungarischer dichterischer Werke, zum Volkstümlichen neigender Gedichte und durch die Interpretierung der grundsätzlichen Gedanken der ungarischen ästhetischen Literatur voll zu entfalten. Die beiden Literaturen benutzten auch andere Quellen, aber diese Wechselwirkung darf auch nicht vernachlässigt und außer acht gelassen werden. Die Entwicklung der ungarischen Literatur ist bis 1848 im wesentlichen geradlinig (wenngleich von Widersprüchen nicht frei). In den 1840er Jahren stellt die Volkstümlichkeit, die Sándor Petöfi mit anderen Strömungen der Romantik synthetisiert, die Hauptrichtung dar. Ähnliche volkstümliche Bestrebungen wie diese sind in der serbischen Literatur nicht zu finden, hier wird auch die Romantik bis 1848 in der Intensität und philosophischen Tiefe wie bei Vörösmarty nicht entfaltet.

Vuk Karadžić hat für die Anerkennung der Volkssprache kämpfen müssen, und in diesem Kampf ging es nicht nur um ein sprachliches Problem. Die slaweno-serbische Dichtung ist der Träger der klassizistischen Ode und des Epigramms, davon zeugt die Lyrik von L. Mušicki. Mušicki interessierte sich für die Volksdichtung, eröffnete aber weder thematisch noch sprachlich eine neue Epoche. Die Starrheit der konservativen Kreise, die Macht der Kirche ermöglichten nicht, daß die Neuerung von Vuk Karadžić beim ersten Anlauf einen durchschlagenden Erfolg hatte. Die Tore tun sich erst langsam auf: der „Letopis“ veröffentlicht gleicherweise die Werke der klassizistischen Autoren und der Volksdichtung. Er legt den Lesern sowohl die zur Romantik neigende Poesie der slawischen Nationen als auch die Ausführungen der sich auf der Vergangenheit versteifenden Theoretiker vor. Nach dem Erscheinen der Volksliederbände, des Wörterbuches und der Grammatik von Vuk Karadžić erneuerte sich die serbische Lyrik nicht sofort. Die Dichtung von Branko Radičević konnte nicht die Rolle spielen wie die Dichtung von Petöfi in der ungarischen Literatur. Er konnte keine hochgradige Synthese der Volkstümlichkeit und der Romantik bieten, und zwar darum nicht, weil er nichts zu synthetisieren hatte. In der serbischen Literatur fehlte bis zu dieser Zeit die Volkstümlichkeit, sogar großenteils die Romantik, die der europäischen Literatur gleiche Terminologie hatte. Daher schöpfte Radičević sprachlich—thematisch sowohl aus der „Gradjanska—Lyrik“ als auch aus den Bänden von Vuk Karadžić. Man kann das Paradox beobachten, daß die serbische Volksdichtung auf die Werke der ungarischen Dichter mehr einwirkte als auf die der serbischen Dichter. Hier wird sich all das, was die ungarische Literatur bis 1848 zustande brachte, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts — in einem gesteigerten Tempo — verwirklichen. Die Wechselwirkungen hören auch in dieser Zeit nicht auf, sie modifizieren sich höchstens, manchmal in qualitativer Hinsicht.

Трагическое в сюжете романа И. С. Тургенева

«Накануне»

В. М. МАРКОВИЧ

1. Осенью 1859 года Тургенев писал Е. Е. Ламберт: «Мне недавно пришло в голову, что в судьбе почти каждого человека есть что-то трагическое — только часто это трагическое закрыто от самого человека пошлой поверхностью жизни. Кто останавливается на поверхности (а таких много), тот часто и не подозревает, что он герой трагедии. Иная барыня жалуется на то, что у нее желудок не варит, а сама не знает, что этими словами она хочет сказать, что вся жизнь ее разбита . . . Кругом меня все мирные, тихие существования, а как приглядишься — трагическое виднеется в каждом, либо свое, либо наложенное историей, развитием народа. И при том мы все осуждены на смерть . . . Какого еще хотеть трагического?»¹ В начале рассуждения звучат достаточно осторожные формулировки («в судьбе почти каждого», «что-то трагическое»), однако мало-помалу оговорки снимаются. Трагическим оказывается даже самое спокойное и благополучное существование. И когда, наконец, Тургенев произносит слова «мы все», становится ясно, что трагическое видится ему в любой человеческой судьбе.

Речь идет о реальном, жизненном преломлении категории трагического. Но характер некоторых формул («тот часто и не подозревает, что он герой трагедии») заставляет предполагать, что сказанное имеет какое-то отношение и к эстетическим проблемам. В этой связи рассуждения Тургенева звучат наиболее парадоксально. Дело в том, что почти все классические формы трагического искусства не предполагают возможности представить героем трагедии любого человека. У большинства «классиков» трагедии (будь то Эсхил или Софокл, Шекспир или Корнель, Шиллер или Клейст) представление о трагическом герое неизбежно сопряжено с той или иной степенью исключительности. Трагический герой обычно выделен из общей массы людей фатальным и катастрофическим величием своей судьбы. Он выше обычных жизненных конфликтов, потому что утверждает себя, свой принцип, свое достоинство вопреки всему миропорядку.

¹ И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Соч., т. 1—15. Письма, т. 1—13, М.-Л., 1960—1968, II, т. 3, с. 354. — Далее ссылки на это издание даются в тексте.

Он выше обычной логики человеческого поведения, потому что утверждает себя ценой страдания и смерти. Он выше обычного противоречия между необходимостью и свободой, потому что губящий его неотвратимый рок осуществляется только благодаря его свободному выбору и свободному действию. Наконец, он выше обычных мерок оптимистической или пессимистической оценки, потому что его фактическое поражение означает его духовное торжество и на-оборот.

Тургеневские размышления о трагическом по своему смыслу гораздо ближе к другой, «не-магистральной» традиции, которая обычно давала о себе знать в периоды кризисов трагедийного жанра. Традиция эта, представленная трагедиями Сенеки, Грифиуса, Кальдерона, многими образцами романтической «трагедии рока» (трагедий ее родоначальника Вернера, прежде всего), связана с глубокими трансформациями «классической» жанровой структуры. В трагедиях этого рода исключительность героя не имеет существенного значения. Развитие трагедийного действия осуществляется здесь, как правило, силами, стоящими над человеком, а герой (независимо от меры его незаурядности) является всего лишь объектом воздействия таких сил. Неудивительно, что на определенных стадиях развития этой традиции (у того же Вернера, например²) героями трагедии могут стать вполне заурядные люди, оказавшиеся невольными орудиями или жертвами судьбы.

Реализм XIX века, открывший возможности для самых многообразных переходов трагического в романную форму, еще дальше отошел от «классической» установки на непременную связь трагического с исключительным. В романах Стендаля, Бальзака, Флобера трагическое противоречие может обозначиться в любой точке художественной структуры и вне всякой связи с традиционными формами ее воплощения, сложившимися в рамках трагедийного жанра. Трагическое вторгается в обыденный сюжет, в обыкновенный, даже «обывательский» по своей изначальной сущности характер. «В произведениях . . . западных реалистов носителем трагического становится, по существу, каждое подлинно человеческое чувство», — справедливо замечает М. С. Кургинян³.

И все-таки даже на этом фоне тургеневская концепция трагического выглядит необычно. Ведь и в рамках тех форм, где незаурядность трагического характера не имела существенного значения, и даже там, где трагические характеры вообще отсутствовали, элемент исключительности тем не менее сохранялся. Он воплощался в трагической ситуации, возникавшей в тот или иной момент действия, — ситуации всегда катастрофической, губительной, демонстрирующей страшные удары рока. Отсюда еще очень далеко до возможности усмотреть трагическое в глубине мирного, тихого, благополучно-пошлого существования.

Письмо Тургенева к Е. Е. Ламберт датировано 14 (26) октября 1859 года. Это значит, что Тургенев записывал свои размышления о сущности трагиче-

² О восприятии немецкой романтической «трагедии рока» в России второй половины 1830-х гг. (т. е. в пору, когда начиналась творческая деятельность Тургенева) см.: Ю. В. Манн. Поэтика русского романтизма. М., «Наука», 1976, с. 293—297.

³ М. С. Кургинян. Трагическое и его роль в познании нового (Из истории западноевропейской драмы и романа). — В кн.: Литература и новый человек. М., АН СССР, 1963, с. 346.

ского как раз в те дни, когда работал над последними главами «Накануне»⁴. Невольно напрашивается предположение о том, что размышления эти могли иметь какое-то отношение заключительной части нового романа.

2. В последних главах романа «Накануне» едва ли не любой читатель замечает перелом, резко изменяющий восприятие и оценку изображаемого. Если ориентироваться на основное содержание большинства предшествующих глав (скажем, до XXXIII), то перед нами типичный для середины XIX века тенденциозно-злободневный социальный роман. Во французской литературе подобный тип романа стал в ту пору уже достаточно привычным. В русской литературе он был еще новым, но быстро входил в литературный «обиход». На фоне последующего литературного развития социальный сюжет «Накануне» легко может быть воспринят как историческое звено, непосредственно предшествующее роману Чернышевского «Что делать?». Некоторые исследователи вплотную подходят к такому именно выводу⁵.

Для такого вывода есть серьезные основания. В основных главах своего романа Тургенев рассказывает о том, как молодая русская девушка ищет высокий и действенный общественный идеал, ищет человека, способного указать ей путь к этому идеалу. Ищет и, наконец, находит. Героиня уже реально вступает на путь «деятельного добра», на путь борьбы за свободу и социальную справедливость. Но в этот момент умирает Инсаров, и сразу же меняется оценка такой, казалось бы, желанной и так удачно, казалось бы, найденной жизненной задачи: «Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. . . Вероятно, я всего этого не перенесу — тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья — и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина. . . Но смерть все прикрывает и примиряет, — не правда ли?» (VIII, 165).

Елена не сворачивает с избранного пути. Но участие в борьбе за освобождение Болгарии приобретает для нее иной смысл. Важнее всего здесь, вероятно, то, что смерть Инсарова тургеневская героиня воспринимает как возмездие за какую-то непостижимую, но совершенно несомненную для нее вину. И свой собственный предстоящий подвиг Елена оценивает теперь уже не как осуществление идеала, не как достижение желанной цели, а как искупительную жертву, как расплату за все ту же тяготеющую над ней непостижимую вину, тайна которой — где-то за пределами нравственного сознания.

Здесь отчетливо проступает грань, отделяющая Тургенева от Чернышевского. Чернышевский еще в середине 1850-х годов обрушивался на понятие тра-

⁴ В письме Н. А. Основскому 5 (17) октября Тургенев пишет, что «занят окончанием» своей «повести», а в письме А. А. Краевскому 20 октября (1 ноября) сообщает, что ее окончил (см.: II, т. 3, с. 346, 354). В черновом автографе дата окончания романа обозначена несколько иначе — 25 октября (6 ноября) 1859 года.

⁵ См., например: Л. М. Лотман. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., «Наука», 1974, с. 70, 86—87.

гической вины, считая его фикцией реакционного свойства⁶. Отношение Тургенева к этой категории явно иное: мы убедимся, что проблема трагической вины выступает в его романе как объективная реальность, требующая самого серьезного отношения.

Перелом, о котором идет речь, подготавливается и назревает постепенно. Однако именно в эпилоге он становится очевидным — настолько очевидным, что поневоле замечают даже те читатели и критики, для которых идейный смысл «Накануне» полностью сводится к социально-политической «злобе дня». Не заметить этот перелом тем труднее, что сразу вслед за цитированным письмом Елены в повествование входят авторские размышления, вынуждающие читателя переосмыслить и переоценить всю конкретную проблематику социального выбора⁷, развернутую в предшествующих главах: «Как бы то ни было след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает, жива ли она еще... или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение и настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет» (VIII, 166).

Перед лицом этой извечной, для всех и всегда одинаковой ситуации как будто бы теряют свое первоначальное значение те различия, которые в предшествующих главах воспринимались как решающие. На фоне этих предельных обобщений так ли уж существенна разница между деянием и умозрением, эгоизмом и альтруизмом, между той или иной жизненной программой? Не все ли равно, какую именно форму примет эта «маленькая игра», это «легкое брожение», которое и есть жизнь? На первый взгляд может показаться, что вторжение трагической проблематики взрывает всю возведенную Тургеневым конструкцию социального романа.

При внимательном рассмотрении это впечатление рассеивается. Становится ясно, что прежняя проблематика не отменяется новой. Просто, она «актуализируется» в ином направлении: те или иные формы, облекающие «маленькую игру» человеческой жизни, оказываются теперь важным уже не столько объективной (т. е. эпохальной, общественной) своей значимостью, сколько значением, которое они имеют для самого человека, ведущего эту «маленькую игру». Важно то, наполняют ли они существование человека необходимым для него смыслом. Все остальное с этой точки зрения несущественно.

Впрочем, как бы мы ни толковали характер и смысл совершившегося сдвига, сам он не подлежит никакому сомнению. Сдвиг этот наглядно обнаружи-

⁶ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, М., Гослитиздат, 1949, с. 180—181.

⁷ «Елена поставлена перед необходимостью выбора между Инсаровым, Берсеневым и Шубиным. Это как бы мслдая Россия с её жадной деятельного добра, и ее герои — люди искусства, отвлеченной науки и гражданского подвига. Выбор Елены решает вопрос о том, кто более нужен России» (Г. А. Бялый. Тургенев и русский реализм, М.-Л., «Советский писатель», 1962, с. 115).

вает внутреннюю неоднородность сюжетной структуры «Накануне» и прежде всего — сложность и напряженность взаимоотношений между трагической темой⁸ и другими элементами сюжета. Судя по всему, трагическая тема входит в тургеневский романский сюжет как начало инородное и «инокачественное».

3. О появлении трагической темы сразу же сигнализирует нарушение внутреннего равновесия сюжетной структуры. Наиболее явно нарушается равновесие между действием и психологической интроспекцией, обычно очень важное для тургеневских сюжетов. Как правило, Тургенев точно находит и поддерживает такое равновесие: событийная динамика и динамика психологическая взаимно проясняют и «завершают» друг друга, но так, что крайне редко возникает ситуация их расхождения, когда внутри одной из этих сфер открывается содержание, которое не могло бы раскрыться в другой. В тех случаях, когда психологический анализ все-таки обнаруживает подспудное содержание душевной жизни, никак не проявившееся в действии, несовпадение двух «измерений» оказывается временным: через один-два-три сюжетных хода скрытый потенциал реализуется в осязаемых проявлениях, и равновесие восстанавливается⁹.

Наиболее последовательно этот закон осуществляется в романе «Рудин». В «Дворянском гнезде» его действие несколько ослаблено эпической «экстенсивностью» сюжета, появлением в психологических характеристиках и в аналитическом комментарии автора некоторого (опять-таки чисто эпического) избытка, не полностью реализуемого в действии. В романе «Накануне» обычное равновесие нарушено уже достаточно осязаемо. Происходит это в промежутке между V и XVIII главами, т. е. в той стадии, когда подготавливаются, завязываются и развиваются отношения между Еленой и Инсаровым.

Бросается в глаза прежде всего появление необычайно мощных для тургеневского романа пластов прямого психологического анализа. Сначала (в VI главе) идет обобщенная характеристика героини. По типу она похожа на характеристику Лизы Калитиной в XXXV главе «Дворянского гнезда», но оказывается намного более развернутой, дифференцированной, аналитичной и если можно так выразиться, более «массированной». Очень редко у Тургенева первоначальная характеристика героини охватывает ее психологию так широко и основательно и так глубоко проникает при этом в сущность характера. Позже (в XVI главе) вводится дневник Елены, где перед читателем вторично проходят уже известные ему из предшествующих глав события, но теперь отраженные в сознании героини, и у читателя появляется возможность проникнуть в скрытую внутреннюю жизнь этого сознания. На фоне более ранних романов Турге-

⁸ Понятие «трагическая тема» употребляется по аналогии с такими терминами как «музыкальная тема», «лирическая тема» и т. п. При всей условности подобного наименования оно представляется оправданным, поскольку отражает особый характер развития трагического начала внутри романного сюжета.

⁹ Перед сценой у Авдюхина пруда Рудин держится решительно и твердо, но «втайне» (очевидно и для самого себя) смущен и растерян. Казалось бы, возникает почти «толстовская» ситуация резкого расхождения между «внешним» и «внутренним». Однако эта ситуация тут же «по-тургеневски» снимается последующей сценой, где смущение и растерянность Рудина прорываются в его словах и поступках.

нева такой сюжетный ход выглядит приемом экстраординарным, также свидетельствуя о беспрецедентном усилении психологической интроспекции.

Но дело не только в необычном увеличении ее удельного веса. Изменяется охарактеризованная выше традиционное смысловое соотношение между динамикой событийной и динамикой психологической. Если оставаться в пределах того, что обнаруживается динамикой событийного ряда (эпизодами, сценами и т. п. развитием взаимоотношений между персонажами), то перед нами движение, в определенном аспекте легко сводимое к взаимодействию двух противоположных тенденций. По мере развития сюжета все отчетливее вырисовываются различия между персонажами устанавливается определенная иерархия их характеров, целей, идеалов, судеб. Но одновременно в глубине этих различий проступают черты сходства, родства или даже тождества, в чем-то сближающие эти разные и неравноценные характеры, цели, идеалы, судьбы. Проступают контуры исторической общности, определяющей принадлежность, порой даже враждебных друг другу людей к одному поколению и к одному времени¹⁰. Динамика социально-исторического сюжета (в этой стадии именно она разворачивается в русле событийного ряда) и «разводит» персонажей (по разным общественным группам, нравственно-психологическим разрядам, по разным ступеням устанавливаемой автором человеческой иерархии), и тут же «сводит», связывает их вместе, включая в противоречивое единство эпохи.

В пределах поля зрения, открытого динамикой событий, складывается впечатление, что стремления Елены — всего лишь высшая степень развития тех потребностей, которые испытывает на пороге новых времен все русское общество. Разница лишь в том, что люди, подобные Берсеневу или Шубину, останавливаются на полдороге, удовлетворяются ограниченными компромиссными решениями, Елена же оказывается наиболее последовательной. Однако психологическая интроспекция открывает нечто иное. Не отбрасывая очевидное содержание злободневного социально-исторического сюжета, она обнаруживает «под» ним глубинный метафизический смысл.

В некоторых моментах подобная диалектика раскрывается с полной очевидностью. Елена жаждет деятельного добра. Но при этом (до самой встречи с Инсаровым) она никого не любит и, как выясняется, никого не может любить. Елена способна полюбить только достойное, но перед лицом ее безжалостной требовательности ничто в окружающем мире не может оказаться таковым. Даже привязанность к нищей девочке Кате мало что меняет в этой ситуации, потому что влечение к ней не имеет почти ничего общего с любовью: тут гораздо больше «тайного уважения», страха и благоговейного восторга перед существом, способным достичь абсолютной свободы. Так возникает загадка безлюбивого, в сущности даже недоброго стремления к добру. И по мере того, как психологический анализ углубляется в скрытую сущность побуждений героини, выясняется, что источником их является особый род нетерпимости.

Для Елены одинаково нестерпимы и нищета, и болезни, и увечья, и самые различные проявления лжи, глупости или слабости, и естественная непоследо-

¹⁰ Черты исторической общности, сближающей Елену с Берсеньевым, Шубиным и даже с Курнатовским, внимательно изучены в упомянутой монографии Л. М. Лотман, с. 74—85.

вательность человеческих чувств и человеческого поведения. Говоря обобщенно, для нее невыносимы любые противоречия — социальные, естественные, духовные. Невозможно для нее и другое — какое-то чисто духовное разрешение жизненных противоречий (жалостью, состраданием, каким-либо возвышением над ними в сознании). В таком отношении легко распознать бескомпромиссную непримиримость трагического героя, перерастающую в отталкивание от всего окружающего мира. Чем отчетливее обозначается особый характер этой изначальной, едва ли не врожденной непримиримости, тем яснее метафизический смысл, притаившийся в глубине стремления к «деятельному добру». Там, в глубине, отчетливо ощущается порыв за пределы всего, что есть, что дано, что известно.

Здесь таится и метафизическая жажда абсолютной свободы, и метафизическая тоска по идеалу какого-то «иного» бытия, и метафизическая неудовлетворенность отсутствием высшего смысла в своем существовании. «Ее душа и разгоралась и погасала одинако, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Иногда она сама себя не понимала, даже боялась самой себя» (VIII, 35).

И тут же, рядом со всем этим открывается настоящая жажда любви, которая никак не находит выхода и осуществления. В этом противоречии тоже ощущается какая-то иррациональная глубина, какая-то тайна, смутный намек на коллизию метафизического порядка. Подобные ощущения, возникающие по мере углубления интроспекции в характер, создают особую атмосферу присутствия трагического.

Появление трагической темы, первые же ее «аккорды» резко осложняют оценку непонятных окружающим порывов Елены, а вместе с тем — всей ее личности и судьбы. Выясняется уникальная исключительность того, что представлялось только элементом общего ряда. . . . «Ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России» (там же), — это самоощущение героини подкреплено всем содержанием ее психологической характеристики, да и в меньшей степени — содержанием ее дневника.

«Дополнительный» метафизический смысл долго присутствует в сюжетном действии подспудно, выявляемый только психологическим анализом (чем, по-видимому, и объясняется резкое усиление его значимости в VI—XIX главах). Этот смысл кроется в подтексте таких решающих сюжетных поворотов как предпочтение, оказанное Еленой Инсарову, человеку, который «не мог бы быть русским», или отъезд Елены в Болгарию, означающий ее разрыв с родиной. И только в стадии развязки, накануне и сразу же после смерти Инсарова (то-есть в момент, когда сюжетное напряжение достигает предела), метафизическое содержание прорывается наружу и властно определяет читательское восприятие эпилога.

Перед читателем здесь — отчетливо обрисованное одиночество трагической героини, никем не поддержанной, опирающейся только на самое себя и не имеющей при этом никакой надежды (потому что гибельное свое самопожертвование Елена не связывает с идеей духовного спасения). В момент, когда ге-

роиня принимает свое последнее решение, Россия перестает для нее существовать: «А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?» (VIII, 165). Но и единственной связью с Болгарией оказывается чувство к мертвому уже Инсарову: Болгария все-таки не стала «моей» родиной, борьба за ее освобождение — «моим» делом. Закончены и исчерпаны отношения со всеми близкими людьми. Прекращается и напряженный диалог с богом, который постоянно вела героиня: Елена больше не укоряет и не вопрошает (как было прежде), но и молитва для нее тоже невозможна. Все прежние связи с миром, в сущности, порываются. «Запредельный» порыв достигает наивысшего напряжения: последнее жертвенное решение Елены выводит ее уже за грань жизни вообще.

4. Но именно в этой стадии развития сюжета, когда ощущение исключительности, отделяющее Елену от всех прочих персонажей, достигает апогея, начинают во всю мощь звучать универсальные обобщения, которые уравнивают (и тем объединяют) героиню с любым другим человеком, кто бы он ни был. И приводит к этому повороту движение трагической темы, прежде всего — эволюция мотива трагической вины, который то появляется, то исчезает, то вновь напоминает о себе — и так на протяжении большей части романа.

Мотив этот первоначально скрыт под оболочкой нравственной проблематики. В такой форме появляется он на страницах дневника героини, когда Елена признает греховность своего равнодушия к родителям, невольную жестокость своего отношения к Шубину и Берсеневу и, наконец, несправедливость своей беспощадной требовательности ко всем окружающим. Но сознание вины остается абстрактным, оно не оборачивается муками совести или потребностью искупления и вообще не вызывает в душе Елены сколько-нибудь сильного эмоционального отклика, если не считать ощущения возникших противоречий, для Елены всегда тягостного.

В какой-то не совсем ясной связи с этим ощущением появляется потребность иного рода. Елена стремится к состоянию полной свободы от всякой нравственной ответственности: «Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уже ни за что не отвечает. Не я хочу: то хочет» (VIII, 83). Но внезапно обретенное счастье впервые рождает — действительное чувство вины: сначала как смутное ощущение («Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену», — VIII, 96), потом как цепь уже вполне ясных и мучительных переживаний («Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало и знать про нее не хотело... Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом, — думала она, — моя семья, моя родина», — VIII, 102). И наконец, когда счастье оказывается под угрозой, чувство превращается в проблему, над которой напряженно работает сознание.

Характерно, что мысль о вине и возмездии приходит сразу и к Елене и к Инсарову, которому, казалось бы, должны быть чужды подобные вопросы. Перерастая границы одного сознания, варьируясь и выступая в разных субъективных преломлениях, мотив становится таким образом именно мотивом, в собственном смысле этого слова. И сразу же появляется намек на его «сверх-

моральную» природу. Герои пытаются проверить свои интуитивные догадки о постигшем их наказании (так воспринимают они болезнь Инсарова), прилагая к ситуации нравственные критерии. И оказывается, что с точки зрения этих критериев им не за что быть наказанными: «Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала . . . Мы пойдем вместе, я пойду за тобой . . . Это мой долг. Я тебя люблю . . . другого долга я не знаю (VIII, 128).

Проблема вины, которую ощущают герои, оказывается за гранью вопросов совести. На какое-то время это ее снимает. Но в XXXIII («венетической») главе «Накануне» она возвращается вновь с неотвратимостью устойчивого лейтмотива. Теперь она разрастается в целый комплекс вопросов. Елена вновь пытается решить их, опираясь на критерии нравственной вины и нравственной ответственности: она стремится уловить в ходе событий связь между грехом и заслуженной карой. Связь эта как будто бы находится. Страдания начинают казаться возмездием за сверхчеловеческое, божественное наслаждение, на которое люди не имеют права: «Ей стало страшно своего счастья. «А если этого нельзя? — подумала она. — Если это не дается даром?» (VIII, 156—157). Но коль скоро речь идет о заслуженной каре, то оказывается естественной апелляцией к иным, искупающим вину заслугам: «О темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!». Но тут же встает другой вопрос, разрушающий всю оправдательную аргументацию: «А горе бедной, одинокой матери?» — спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос (там же).

Этот внезапный поворот, соизмеряющий громадное дело освобождения целой страны с горестями единственного человеческого существа, как бы превосходит нравственную проблематику Достоевского. Здесь уже таятся предпосылки рокового вопроса о том, может ли счастье всего человечества искупить слезинку замученного ребенка. Однако вопрос этот у Тургенева даже не развернут. Он, скорее, гасит своей очевидной неразрешимостью возможность дальнейших рассуждений в русле нравственных проблем. Все проблемы такого рода, наталкиваясь друг на друга в сознании Елены, образуют безвыходный круг.

Выход открывает прямое авторское вмешательство, как бы возносящее читателя на иной уровень постижения истины. Автор снимает противоречия, неразрешимые для сознания героини, открывая за ними противоречия более глубокие и универсальные, лежащие, в сущности, уже «по ту сторону» добра и зла. «Елена не знала, что счастье каждого человека основано на несчастье другого, что даже его выгода и удобства требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других» (там же). Здесь уже отчетливо звучит мысль о том, что Елена виновата без вины или, вернее, — вневичной, всечеловеческой виной. Чуть позже мысль эта предельно расширяется: «Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить . . .» (VIII, 164). Всеобщая трагическая вина кроется в самом факте существования отдельного человеческого «я». Любое страдание, любой переход

от счастья к несчастью, наконец, любая человеческая смерть могут быть поняты как законное возмездие за эту вину.

Таков итог, венчающий развитие трагической темы, итог вполне закономерный, так же как закономерна ее внутренняя диалектика, ведущая через возрастающее ощущение исключительности (которое выделяет судьбу Елены из ряда прочих) к открытию общего закона в основании этой судьбы. Исключительность Елены долгое время выражается в ее непосредственной причастности к вечным метафизическим коллизиям бытия. Ко всем остальным эти коллизии как будто не имеют отношения: остальные «ниже» того уровня, на котором эти коллизии дают себя знать. Но все глубже и глубже проникая в сущность таких коллизий, развитие трагической темы в конце концов «упирается» в универсальную первооснову жизни. И вот тогда-то обнаруживается трагическое содержание, которое может быть спроецировано на всех персонажей, не исключая самых пошлых и ничтожных¹¹.

5. Так вырисовывается представление о вездесущем и всеохватывающем трагизме человеческого существования, очень близкое к тому, которое прорвалось в письме к Ламберт. Роман не только проясняет несколько загадочные формулы письма, но и претворяет их в полноценную, развивающуюся художественную идею. На той высоте философско-эстетического созерцания, которая достигнута в финале романа, действительно появляется возможность признать, что каждый человек — герой трагедии.

Своеобразие концепции, нашедшей свое выражение в романе «Накануне», нагляднее обрисовалось бы в сопоставлении с некоторыми другими, в чем-то сходными с нею вариантами трагического мирозерцания. С этой точки зрения полезным было бы, например, сравнение с христианской идеей «первородного греха» и в особенности — с тем эстетическим преломлением, которое она получила в трагедиях Кальдерона (привлекавших еще в 1840-е годы пристальное внимание Тургенева). Не менее существенными оказались бы результаты сравнения тургеневской концепции с древнегреческими учениями о трагическом падении «нуса» (ума-перводвигателя мировой жизни), который отдает себя во власть временного, преходящего, доступного страданию, подверженного необходимости и случайности, и тем самым себя попирает, чтобы быть наказанным

¹¹ Развитие трагической темы дублируется — в сокращенном и концентрированном виде — развитием «аккомпанирующих» ей поэтических мотивов. Приведем один характерный пример. В разговоре Шубина с Уваром Ивановичем (вечером того дня, когда становится известным замужество Елены) мелькает выразительное сравнение: «Нет, кабы были между нами путные люди не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду» (VIII, 142). А в эпилога это сравнение развертывается в целостный мотив, несущий иное содержание: «Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба . . . плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет». В движении малой поэтической «темы» почти зеркально отражается диалектика большой: от ощущения героической исключительности Елены к сознанию трагического равенства всех перед извечной властью смерти и судьбы.

через наказание восстановить самодовлеющую и блаженную цельность бытия¹². Наконец, чрезвычайно интересно было бы подключить к этой системе сопоставлений шопенгауэровскую концепцию трагического, по-своему трансформировавшую мысль о «первородном грехе» в контексте философской антиномии «воли» и «представления»¹³. Отчетливое несовпадение тургеневской концепции со всеми названными (заметное даже в рамках предварительного рассмотрения) несомненно свидетельствует об их принципиальном различии. Но ввиду размера и характера настоящей статьи разумнее оставить задачу таких сравнений «за скобками» и ограничиться лишь одним сопоставительным «ходом», который может показать эволюцию тургеневской философии трагического.

Финальные авторские формулы «Накануне», отрицающие законность прав отдельной личности на жизнь и счастье (и тем самым как будто бы пресекающие возможность ропота против равнодушного к человеку естественного миропорядка), звучат в особом, отчужденно-объективном, торжественном «регистре», резко отграниченном от любой почти разновидности субъективно-личного тона. Эта очень редкая в тургеневском романе стилистическая тональность напоминает кульминационные лирико-философские аккорды «Поездки в Полесье», опубликованной в 1857 году. В таком же тоне торжественного, отрешенно-объективного откровения звучат там финальные рассуждения рассказчика, которому вдруг удалось разгадать главную загадку природы, уяснить ее «несомненный и явный, хотя и для многих таинственный смысл». Природа неуклонно поддерживает общее равновесие жизни, она дает место всему согласному с ним и враждебна всему, чем это равновесие нарушается. Именно в такой мере она дружелюбна или враждебна человеку, именно в такой мере карает его обособленность и неповторимость, отвергает его притязания на свободный выбор, его потребность удерживать и увековечивать все ценное для него. В единой связи всеобщего равновесия находят оправдание любые человеческие беды и несчастья: они представляются необходимым условием этого равновесия.

Здесь намечается что-то близкое к представлению о трагической гармонии, осуществляющейся через нарушение и восстановление мирового единства. Самый факт отдельного существования человеческой личности (даже независимо от ее претензий) получает смысл вины, требующей искупления и искупаемой несчастьями, болезнями, смертью. Но все это может быть воспринято как гармония лишь с высот безличной космической правды Целого. Человек, поднявшийся, в сознании на такую высоту, в сущности перестает быть индивидуумом: об этом ощутимо свидетельствует не только смысл, но и самый тон рассуждений подобного рода. Неудивительно, что Тургенев, превыше всего дороживший не-

¹² Вопрос о существовании объективной переклички между финалом «Накануне» и некоторыми краеугольными идеями греческой философии был поставлен еще М. О. Гершензоном (М. О. Гершензон. Мечта и мысль Тургенева. М., 1919, с. 61).

¹³ Появление у Тургенева интереса к Шопенгауэру по традиции датировалось 1856—1857 годами. А. И. Батюто убедительно обосновывает предположение о более ранней дате — не позднее первой половины 1855 года (См.: А. Батюто. Тургенев-романист. Л., «Наука», 1972, с. 114—116).

повторимой человеческой индивидуальностью, не смог отдаться космической правде безусловно и вполне.

Жанровая форма лирико-философской повести, позволявшая космической правде войти в смысловой строй целого на правах ощущения повествователя, открывала наибольшие возможности для приближения к трагической гармонии. Поэтому финальные «космические» аккорды оказались высшей (хотя и не завершающей¹⁴) смысловой инстанцией «Поездки». В романе степень философской и эстетической «ответственности», лежащей на финальных авторских размышлениях, намного возросла и заметно изменился их смысл. Пафос безличной правды мирового единства слышится в словах автора о трагической вине существования или о том, что права жить, в сущности, нет ни у кого. Но стать последним словом и высшей инстанцией таким истинам не дано. В движении повествования этот аккорд перекрывается другим: идут авторские рассуждения о «маленькой игре жизни», о смерти, поймавшей в свои сети каждого живущего. Стилевая тональность здесь уже несколько иная: сквозь отрешенно-объективное звучание универсальных откровений едва заметно пробивается призыв субъективного лиризма. И «отсчет» здесь ведется «от человека», поэтому трагическая логика Целого не может ощущаться как гармоническая. Соседство двух противоположных позиций оборачивается непримиренным противоречием двух «разнозаконных» правд — вселенской и личностной (то-есть опять-таки трагической коллизией). Если она и преодолевается, то не нравственным, религиозным или философским разрешением, а в собственно эстетической форме — внутренним равновесием романной структуры.

На фоне этого «антиномического» итога, катастрофа, постигшая Елену, вновь получает традиционный для трагического искусства смысл. Она может быть воспринята как возмездие за попытку обрести гармонию в дисгармоническом или даже, вовсе исключаяющем всякую реальную гармонию мире. Говоря иначе, за попытку в одиночку и «для себя» разрешить задачу общемирового значения. Это уже — характерное для «классических» форм понимание вины трагического героя. И столь же «классическое» осмысление его гибели — как расплаты за превышение пределов человеческой компетенции. Возможные интерпретации как бы накладываются друг на друга: исключительное переходит в универсальное, универсальное вновь приводит к исключительному, и в этой подвижной, парадоксальной диалектике смыслов дерзновенно-героическая попытка взять на себя «слишком много» предстает, в конце концов, частным случаем «безвиной» вины всех и каждого.

6. Когда обнажившийся в развязке трагический смысл проецируется на всех персонажах романа, этому способствует и композиционное положение прозвучавших здесь обобщений. Их «завершающая» роль обоснована также их связью с проблематикой известного спора между Шубиным и Берсеневым в первой главе. Спор этот, как давно уже замечено, выполняет функцию философской увертюры романа: все действие разворачивается на фоне вопросов-

¹⁴ О мотивах, не «покрываемых» философским смыслом финальных рассуждений повествователя, см.: В. Маркович. Повести Тургенева 1854—1860 гг. — В кн.: И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 т. т. 6, М., «Худож. лит.-ра», 1978, с. 321—322.

поставленных первым диалогом, и прямо или косвенно соотнесено с ними. И когда финальные обобщения включаются в это соотнесение и как бы венчают его, образуется смысловая проекция, охватывающая весь сюжет и всю систему образов в целом.

Но в осязаемую художественную реальность эта проекция превращается лишь отчасти. Хотя логически, в принципе, трагические формулы финала относятся, скажем, и к родителям Елены воспринять последних как героев трагедии все-таки нелегко. И уже просто невозможно прямо связать трагическую философию, прозвучавшую в эпилоге, с тут же звучащим рассказом о том, как благоденствуют в частливом супружестве Курнатовский и Зоя. А ведь логически такая «операция» должна быть вполне правомерной.

Это значит, что некоторое расхождение между трагической темой и остальными элементами сюжета сохраняется до самого конца. Трагическая тема проходит через роман на правах своеобразного «второго сюжета».

Понятие «второй сюжет» было введено в работах Н.Я. Берковского 1930-х г. г. для характеристики некоторых важнейших особенностей западноевропейского просветительского романа XVIII века¹⁵. Одной из таких особенностей была внутренняя двойственность сюжетной структуры романов Филдинга, Смолетта, Гольдсмита, Дидро, Гете и др. Параллельно эмпирическому сюжету отражающему логику реальных законов современной общественной жизни здесь развертывался иной сюжетный ряд, в котором воплощалась истина более высокого ранга. Это была истина конечных сущностей человека, общества, истории, истина «жизни вообще», признаваемая просветителями абсолютной и высоко возносимая над истиной фактической, на их взгляд относительной и неполной. Второй сюжет до поры таился в романе подспудно, лишь изредка давая почувствовать свое присутствие. Но в стадии развязки, он, как правило, резко вторгался в движение эмпирического сюжета и по итогам произведения торжествовал над ним.

Появление «второго сюжета» в просветительском романе было глубоко закономерным. «Именно с века Просвещения, — отмечает Г. Д. Гачев, — перед литературой встает задача постижения скрытой, невыявленной сущности общественных отношений (имеются в виду общественные отношения как универсальная категория — В. М.), которая играет для судьбы человека и человечества большую роль, чем его наличное состояние¹⁶. Задача эта становится значительно более острой в эпоху становления реализма XIX столетия и, вероятно, достигает максимальной остроты в пору формирования русского реалистического романа. Стремясь освоить фактическую реальность жизни, русское реалистическое сознание 1830-х годов вместе с тем рвалось и за пределы этой реальности — к «последним» истинам, вечным вопросам, коренным противоречиям

¹⁵ См., например: «Ранний буржуазный реализм», Л., Гослитиздат, 1936, с. 89—92; или: «Западный сборник», кн. I, М.—Л., АН СССР, 1937, с.70—71.

¹⁶ Г. Д. Гачев. Развитие образного сознания в литературе — в кн.: «Теория литературч. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер». М.—Л., АН СССР, 1962, с.233,

бытия. Поэтому в классических романах той поры (в «Герое нашего времени» и «Мертвых душах», прежде всего) естественно образуется лирико-символический «второй сюжет», который развивается «над» фабульным действием и в то же время неразрывно с ним связан. Его формирование сообщает основному сюжету расширяющий его содержание дополнительный смысл: сквозь индивидуальное, социально-типичное, эпохальное просвечивает общенациональное, всечеловеческое, вселенское.

В эпоху натуральной школы 1840-х годов «второй сюжет» исчезает: он не нужен реализму этих лет, исключившему из своего кругозора «высшие» реальности и ограничившему себя задачами социально-бытовой и социально-психологической типизации. Первый после исторического перерыва намек на возрождение «второго сюжета» ощущается в тургеневском «Рудине», Несколько устойчивых поэтических лейтмотивов, группирующихся вокруг «скандинавской легенды», сплетаются здесь в единый символический подтекст, окружая тему главного героя своеобразным метафизическим «ореолом». И вот в романе «Накануне» «второй сюжет» становится одним из основных компонентов структуры.

Даже беглое сравнение с более ранними формами сразу же заставляет почувствовать протяженность уже пройденного литературой исторического пути и своеобразие творческой индивидуальности Тургенева. Соотношение трагической темы и злободневного социально-исторического сюжета, в принципе, напоминает издавна сложившееся параллельное сосуществование эмпирической и метафизической истин, которое в финале оборачивается активным вторжением метафизической истины в динамику фактического сюжета. Но многое существенно изменилось, начиная с самой метафизической истины, отдалившейся от просветительского рационалистического оптимизма, вобравшей в себя богатейший эстетико-философский опыт романтизма и принявшей форму трагической концепции бытия. В то же время ее связь с эмпирическим сюжетом стала значительно более тесной и органичной, чем в просветительской литературе и на предшествующих стадиях развития реализма.

Можно отметить одну особенность субъектной иерархии романа. Истина универсального трагизма человеческой жизни открыта только авторскому сознанию. Героиня так и не поймет, в чем заключается сущность ее непостижимой для ума и совести таинственной вины. Однако философские размышления автора об этом звучат как комментарий, поясняющий состояние Елены: «В ее душе не было упреков; она не дерзала вопрошать бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина? Каждый из нас виноват уже тем, что живет. . .» (VIII, 164). Таково же, в сущности, соотношение между авторской философией и жертвенным решением Елены. Не возвышаясь до понимания своей трагической вины, героиня решает искупить ее собственной гибелью, то есть поступает именно так, как поступила бы, если бы все ясно понимала. Дистанция между автором и героиней, таким образом, есть, но дистанция эта — не абсолютная.

Можно обратить внимание и на комические, иногда почти пародийные преломления некоторых трагических мотивов в «низших» пластах сюжетной

структуры. В развитии сюжетной линии отчетливо прослеживается присутствие трагической иронии. Катастрофа обрушивается на Елену в тот самый момент, когда ей удается гармонически соединить в своей жизни все необходимое. При этом судьба как бы ловит ее на слове. В дневнике героини есть запоминающаяся запись: «Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье... или ... болезнь, а то как раз зазнаешься» (VIII, 81). Жизнь в точности осуществляет эту формулу: Елене кажется, что она разрешила загадку гармонии между личностью и миром — тут-то и настигают ее болезнь Инсарова и несчастье. Нечто подобное можно обнаружить и в развитии линий Шубина или Берсенева: обоих «насмешливое коварство случая» (Шопенгауэр) тоже ловит на слове. «Язычнику» — гедонисту Шубину, провозглашающему: «Мы завоюем себе счастье! (VIII, 14), жизнь посылает все, что угодно, кроме счастья, для которого он, казалось бы, создан. «Жертвенника» Берсенева, объявляющего священной обязанностью человека «поставить себя номером вторым» (и связывающего с этим надежду на безусловное нравственное удовлетворение) — судьба заставляет жертвовать, жертвовать и жертвовать, не давая ни удовлетворения ни даже спокойствия. Разумеется, эти варианты юмористически дублируют основной принцип трагической иронии. Однако благодаря такому преломлению он «нисходит» в эмпирический сюжет и тем самым связывает его с трагико-метафизическим.

В эмпирическом сюжете есть и своеобразный комический эквивалент трагедийной партии хора. Такова роль Увара Ивановича и его косноязычно-мудрых реплик, звучащих вслед основным перипетиям героико-трагической темы. Опять-таки именно комическое преломление этой функции как раз и позволяет ей осуществиться, позволяет прозвучать голосу той «почвенной», коллективной правды, которая традиционно воссоединяла одинокого героя трагедии с массой остальных людей.

Но, может быть, важнее всего другое — с чем связана в тургеневском романе трагическая уязвимость героини и, стало быть, возможность для нее трагической судьбы. Во имя своих жертвенно-героических стремлений Елена может поступиться многим, но только не желанием любви и счастья. Оно-то и навлекает на нее роковой удар. Получается, что трагической героиней Елену делают свойства обыкновенной девушки: без этих свойств трагедия не могла бы состояться, для ее возникновения они так же необходимы, как и свойства героические.

Оважности для Тургенева именно этой стороны характера Елены свидетельствует такая парадоксальная особенность сюжетной организации романа. В «Накануне» почти нет так называемых «свободных» мотивов. Практически все эпизоды и даже самые незначительные второстепенные и третьестепенные персонажи непосредственно участвуют в развитии действия. И при этом условия «Накануне» оказывается самым медлительным, самым растянутым из «классических» романов Тургенева (старческая «Новь» — не в счет). Особенно это ощутимо в кульминационной стадии развития действия — между объяснением героев в часовне и их отъездом из России. Но в этой же стадии наиболее очевидна необходимость «торможения». Оно позволяет показать развитие чувства во всех его естественных переходах. И тем самым заставляет читателя почувствовать

в героине девушку «как все», перебросить связующие нити между уникальностью трагической героини и логикой обыкновенного.

Словом, Тургенев в известной мере добился взаимопроникновения метафизических и эмпирических начал сюжета, сделал возможными взаимопереходы трагического и повседневного. Но принципиального различия между этими началами он все-таки не устранил. Грань между ними ощущается почти всегда, и почти всегда о ней сигнализируют стилистические сдвиги. Самый существенный из них (особенно в финале) выражается в том, что вспышки трагической истины требуют для своего проявления вторжения в эпическое повествование лирической стихии, с ее особым временем и особым отношением к реальности (неразрывная связь лиризма и трагического в тургеневских романах — проблема, требующая самого внимательного исследования).

7. Впрочем, Тургенев, судя по всему, и не стремился слить в однородное целое трагико-метафизические и социально-исторические сюжетные пласты своего романа. И остается лишь сказать несколько слов о том, по каким мотивам его могла устраивать эта неснимаемая «разность потенциалов».

Судя по всему, для Тургенева важна возможность проникать сквозь конкретные исторические, социальные, бытовые, психологические формы, в которые облекается непрерывно меняющаяся жизнь, — к ее вечной первооснове, неразрешимым метафизическим ее противоречиям. Но способность проникновения нужна ему не для того, чтобы отвлечься от этих конкретных форм, а для того, чтобы остро и напряженно соотносить их вновь и вновь с метафизической первоосновой бытия.

Сознания Тургенева неизменно опирается на «общие места» прогрессивных идеологических доктрин его эпохи (таковы идея прогресса, принцип историзма, допущение конечной гармонии мироздания и т. п.). Но сокровенная сущность его мирозерцания, по-видимому, далека от этих «моделей»: она — в ощущении всеохватывающего универсального трагизма. В высшей степени характерно то, что Тургенев не смел отдалиться сокровенному пафосу своего воззрения, что ему была необходима твердая позитивная опора. Однако не менее характерно то, что писатель никогда не поступался этим трагическим пафосом. Отсюда двойственность его отношения к жизни, рождавшая особый тип историзма, который по аналогии с известной формулой Достоевского о реализме, наверное, можно было бы назвать «историзмом в высшем смысле».

Этот историзм, непрестанно соотносящий преходящее с вечным, постоянно измеряющий одно другим, определял глубоко парадоксальное восприятие русской истории. Часто оно заставляло Тургенева сомневаться в том, а развивается ли при всех своих переменах Россия (говоря иначе, образуют ли все видимые перемены движение от низшего к высшему)? В то же время это был взгляд, не позволяющий на чем-либо остановиться и замкнуться. Соотнесение с неразрешимыми вечными коллизиями каждый раз обнаруживало недостаточность идеалов, которые выдвигала новая эпоха, неполноценность найденных ею решений. Так намечалась перспектива выхода за ее горизонты.

В XXX главе «Накануне» Шубин спрашивает Увара Ивановича: «Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?» Ответ звучит уверенно и

твердо: «Дай срок... будут.» (VIII, 142) В последних строках романа тот же вопрос повторяется: «И вот теперь я отсюда, из моего «прекрасного далека» снова вас спрашиваю: «Ну, что же, Увар Иванович, будут?» Однако теперь мы уже не слышим определенного ответа: «Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор.» (VIII, 167) Проблема, казалось бы, отчетливо решенная, вновь оборачивается открытым вопросом, ускользающим от окончательного решения.

Монархический принцип у Достоевского
(К вопросу об отношении автора к герою как важнейшем компоненте
структуры «образа автора»)

Л. АЛЛЕН

В своих трудах Виктор Владимирович Виноградов неоднократно подходил к проблеме структуры «образа автора» как одного из важнейших компонентов любого художественного и публицистического произведения:

«Образ автора — это та цементирующая сила, которая связывает все стиливые средства в цельную словесно-художественную систему. Образ автора — это внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая система произведения. (. . .) В стиле литературного произведения, в его композиции, в объединяющей все его части и пронизывающей систему его образов структуре образа автора находит выражение оценка изображаемого мира со стороны писателя, его отношение к действительности, его миропонимание»¹.

«Принципы группировки, отбора 'предметов', способы изображения лиц носят на себе знаки определенной авторской индивидуальности»².

Можно, кажется, дополнить и углубить блестящий анализ Виноградова. Ведь не только «способы изображения лиц», но сама сущность отношения автора к герою, сама сущность отношений героев между собой под контролем автора или в рамках так называемого свободного экспериментирования «носят на себе знаки определенной авторской индивидуальности.»

Виноградов удивительно метко определил наличие глубокого органического единства у каждого индивидуального творческого гения. Все в мире большого художника связано и перекликается между собой. В первую очередь, это касается идеологии и эстетики писателей такого масштаба, как Гоголь, Достоевский и Толстой, они не могут восприниматься в оторванности друг от друга. Противоречия, конечно, могут быть и должны быть, но не столько между идеологией и эстетикой как таковыми, сколько внутри того целостного ансамбля,

¹ В. В. Виноградов. *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М., 1963, стр. 97—125.

² В. В. Виноградов. *О языке художественной литературы*. М., 1959, стр. 140.

что они составляют. Впрочем, многие из этих противоречий мнимые, узко статичные, и часто разрешаются диалектически.

Мне бы хотелось, в свете этого методологического освещения, проанализировать истинное соответствие, существующее у Достоевского между идеологией и эстетикой, опираясь, главным образом на изучение проблемы отношений у него автора и героя, героя и действующих лиц между собой.

Достоевский, говорят, был убежденным монархистом. Ну и пусть. Этот монархизм, по мнению многих, не уживается с его подлинными творческими достижениями. Например, профессор Бурсов как-то странно заколебался в противоречивой оценке этой удивительной дихотомии:

«Как Гегель, вопреки своей диалектике, сделался апологетом прусской монархии, так и Достоевский, вступая в явное противоречие со всеми своими художественными открытиями, оказался проповедником монархической идеи. (...) Монархизм является искажением его гениальности, пускай и неотъемлемым от нее»³.

Мне же как раз наоборот кажется, что существует какая-то глубокая гармония между политическими воззрениями Достоевского и основной природой его художественного таланта. Только до сих пор, может быть, его политические убеждения плохо анализировались и оценивались. Вопрос острый, — тема, конечно, спорная, — но вот, по-моему, как надо его разрешить, то-есть по существу переоценить.

Общество персонажей у Достоевского пирамидальное и концентрическое. Оно опирается в бесконечность, в беспредельность. Все же, основная структура его вертикальная:

«Позвольте, маточка, — спрашивает Макар Алексеевич Девушкин в *Бедных людях* —, всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом»⁴.

Каждый нужен на своем месте и должен там стоять:

«Я это все знаю, — продолжает тот же Девушкин —; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто же стал бы переписывать? Я вот какой вопрос делаю, и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну, так я сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, и что нечего вздором человека с тольку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держатся; — да крысе-то этой награждение выходит, — вот она крыса какая»⁵.

³ Б. И. Бурсов. Личность Достоевского. Звезда, 1969, № 12, стр. 91.

⁴ т. 1., стр. 61. (Простое указание на том означает, что текст цитируется по изданию «Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. — Художественные произведения, тома 1—18», Изд. «Наука», Ленинград, 1972—1976 гг.)

⁵ т. 1., стр. 48.

Но, если каждый необходим на своем месте, если за человека, занимающего это место, все держатся, вся беда в том, что в силу природы своей человек не хочет и не может оставаться на «своем месте», а только и норовит «переменить участь». Тот же Девушкин уже намекает на этот всеобщий закон у героев Достоевского:

«Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустении находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой. Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет»⁶.

Если Макар Девушкин на протяжении своей переписки упорно твердит и убеждает Вариньку, что «во всем воля божия», что «воля-то божия непременно должна быть» и «промысл творца небесного, конечно, и благ, и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое», то за этими утверждениями слишком явно слышатся «сомнения», закравшиеся в робкую душу Девушкина⁷. «Слишком вольная мысль» нет-нет и прорвется у него, и ему приходится оправдываться в своем вольнодумстве: «эта мысль иногда бывает, иногда приходит, и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается»⁸.

Вертикальное общество означает несвободу и неравенство, если уж не считать равенством одно лишь моральное равенство перед трансцендентальным принципом. Именно из тупика вертикального общества человек стремится так или иначе выкарабкаться. Конечно, само вертикальное общество предлагает парадоксальное, но обманчивое решение: все «ступеньки» как-то связаны между собой, фигурально отмечает Алеша Карамазов в своем диалоге с братом Митей:

«Все одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это все одно и то же, совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступает и на верхнюю.

— Стало быть, совсем не вступать?

— Кому можно — совсем не вступать.

— А тебе — можно?

— Кажется, нет»⁹.

В обществе персонажей Достоевского настоящее (возможное) равенство и настоящая (возможная) свобода приходят извне, из расширения собственной сути и видимого кругозора. Они появляются как следствие необходимого и неизбежного отмирания существующего порядка вещей. Ведь вертикальное

⁶ т. 1., стр. 86.

⁷ т. 1., стр. 101—102.

⁸ т. 1., стр. 89.

⁹ т. 14., стр. 101.

общество не может не взорваться изнутри. Понятию «вступать или не вступать» (вертикальному понятию) противопоставляется понятие «переступать или не переступать» (понятие горизонтальное). Не ввысь, а вширь. И здесь «совсем не переступать... кажется» нельзя. Все постоянно двигаются, меняясь местами и ролями. В этом отношении топология Достоевского — топология переливчатости и самозванства.

Персонажи Достоевского глубоко неравны по объему и значению. Общество, в которое они входят, построено по образу и подобию солнечной системы. Любопытно, в этом смысле, острое замечание Порфирия Петровича, обращенное к Раскольникову:

«Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем»¹⁰.

Центральный герой, главное действующее лицо, отражает свой свет на других действующих лиц, которые тяготеют к нему, не отрекаясь при этом от своей внутренней автономии это. Общество как и вселенная по Эйнштейну, находится в состоянии постоянной экспансии и ничье место не определяется навсегда. Лебядкин так выражается перед Ставрогиным:

«Самовар кипел с восьмого часу, но... потух... как и все в мире. И солнце, говорят, потухнет в свою очередь...»¹¹

«Говорят, — восклицает муж Кроткой —, солнце живет вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля»¹².

Взрыв вертикального общества изнутри означает отмену всякой прочной иерархии и способствует пролиферации всяких анархических ферментов. Это уже смертельная угроза обществу как таковому. Анархист Петр Верховенский рассказывает в *Бесах* символический «анекдотик»:

«Один седой бурбон капитан сидел, сидел, все молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?» Взял фуражку, развел руки и вышел»¹³.

Анархическому принципу противопоставляется Достоевским принцип монархический. Ведь что такое монархия вообще, и у Достоевского в частности? Монархия есть, по крылатому выражению одного известного французского публициста, «анархия плюс один».

Кто этот «один»?

Это на равных правах, хотя и в разных значениях и в разных областях, автор, главный герой и монарх. Они занимают свое место и играют свою роль пока действительно царит анархия, и люди не умеют устроиться между собой. Он один в данных условиях и на определенном этапе развития человечества может быть беспристрастным и поэтому может гарантировать всем и каждому право на су-

¹⁰ т. 6., стр. 352.

¹¹ т. 10., стр. 207.

¹² *Дневник писателя* за 1873 и 1876 годы, Госиздат, М.—Л., 1929, стр. 475.

¹³ т. 10., стр. 180.

ществование и на самоуправление. Достоевский видел в монархии, будучи «воспитан на Карамзине», движущую силу русской истории и главную опору против западного «демократизма», который, по его мнению, неизбежно приводил к распаду наций и к усиленному гнету над маленьким человеком. Но монархизм не превращался для Достоевского в самоцель. Его идеал недвусмысленно тяготел к будущему гармоническому устройству всего человечества на принципах всеобщей круговой поруки. Монархизм Достоевского жижется на идее контракта и договора и отмирание монархии, когда исчезнет ее историческая необходимость, было одним из главных тезисов позднего писателя.

В записной книжке последних лет Федор Михайлович выражается так:

«Я, как и Пушкин, слуга Царю, потому что дети его, народ не погнушаются слугой Царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»¹⁴.

Мало того, когда в последний год жизни Достоевского усилились толки и «надежды» на созыв Земского собора, он писал в статье *Дневника писателя*, озаглавленной «Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться», что нужно «оказать доверие» народу¹⁵. За несколько дней до кончины Федор Михайлович высказал даже редактору *Исторического вестника*, Шубинскому, следующую мысль:

«Министры должны быть ответственны перед Земским собором, который должен служить непосредственным звеном между самодержавием и народом»¹⁶.

Трудно действительно представить, как согласовать эту мысль с безоговорочной защитой самодержавия.

«Земство, правильное земство — это поворот к народу, к народным началам», — писал он в последней записной книжке¹⁷.

Достоевский ратовал вообще за «самую широкую свободу печати, сходов, исповеданий» и пр. «Я высказывал все это некоторым высокопоставленным лицам, — приводит тот же Шубинский собственные слова Федора Михайловича, — они во многом соглашались со мною, но безграничной свободы печати не могут понять. А не понимая этого, ничего понять нельзя...»¹⁸

Что монархизм и монархия являются лишь необходимыми этапами в истории человеческого развития, что они сами по себе не идеал навеки и не самоцель, видно из анализа, сделанного Достоевским, как по поводу современного ему общества, так и по поводу общей диалектики истории.

«То, что называется в России обществом, набиралось и составлялось из помещиков. В последнее время из чиновников (буржуазия).

— Теперь помещиков нет. Наше общество должно быстро измениться»¹⁹.

«Мы не общество. Простой народ общество, а мы — публика (в проект)»²⁰.

¹⁴ Биография, письма и заметки из записной книжки, СПб., 1883, стр. 373.

¹⁵ *Дневник писателя* за 1887, 1880 и 1881 годы, Госиздат, М.—Л., 1929, стр. 438.

¹⁶ С. Н. Шубинский, К портрету Ф. М. Достоевского, *Исторический вестник*, 1881, 3.

¹⁷ Бгр. (см. № 14), стр. 362.

¹⁸ см. № 16.

¹⁹ Литературное наследство, т. 83, стр. 286.

²⁰ здесь же, стр. 179.

«Мы не общество» — такой вывод естественно напрашивается из беспристрастного чтения *Бесов*.

Закон исторического развития, согласно Достоевскому, исходит из «первобытных патриархальных общин» («когда человек живет массами (. . .) то человек живет непосредственно») и, замыкая свой круг, возвращается «в непосредственность, в массу» (когда «человек возвращается в массу, в непосредственную жизнь, след. в естественное сознание, но как? Не авторитетно, а напротив, в высшей степени самовольно и сознательно»²¹).

«Время переходное», согласно Достоевскому, «т. е. дальнейшее развитие» определяет то, что называется «цивилизацией», дворянской, а потом буржуазной:

«Цивилизация есть время переходное. В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек, как личность, всегда в этом состоянии своего общегенетического роста — становится во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял поэтому всегда веру и в Бога. (Тем кончались всякие цивилизации. В Европе, например, где развитие цивилизации дошло до таких пределов, т. е. до крайних пределов развития лица, — вера в бога в личностях пала.) Это состояние, т. е. распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает»²².

Итак, цивилизация, по мнению Достоевского, — время переходное и болезненное. Это время «распадения масс на личности» и это раздробление означает в политическом отношении, что «цивилизация» тяготеет к анархии и к анархизму. Монархия, как «анархия плюс один», соответствует этой фазе исторического процесса. Цивилизация, именно как анархический принцип, есть время романов Достоевского. Это время подпольного героя, тоскующего по живой жизни. Это время Петра Верховенского, чья программа является прямой иллюстрацией к тезису Достоевского о «шатости в понятиях» при «цивилизации».

Весь горизонт Достоевского, как в политическом, так и в художественном планах, колеблется между двумя перспективами. Близкая перспектива определена анализом современного этапа, но и в ней уже ясно проступают черты будущего. Как определяется это будущее? «В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно-сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо»²³.

Это возвращение, этот «возврат к народному корню»²⁴ лежит в центре политической и творческой эволюции Федора Михайловича. Им же и определяется

²¹ здесь же, стр. 246—248.

²² здесь же, стр. 246—248.

²³ здесь же

сама суть «перерождения моих убеждений»²⁴. Когда, по пророчеству Версилова, «недалеко время, когда таким же дворянином, как я, и сознателем своей высшей идеи станет весь народ русский»²⁵, естественно уже предполагать, что монархия уже отмирает, как отмирает класс «исторических» дворян. Иван Карамазов прямо утверждает о том, что «всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели»²⁶.

Этот уже неизбежный процесс отмирания русского монархизма не должен был сыграть на руку сомнительному западному «демократизму», в котором Достоевский усматривал опасный уклон и большой риск для дальнейших судеб человечества. И поэтому монархия должна была оставаться в силе, пока смена не была готова, пока законный наследник («весь народ русский») еще не дорос до полной духовной и культурной зрелости.

Такой процесс отмирания самодержавной власти в такую переломную эпоху не мог не найти своеобразного отклика в художественной манере такого «кризисного» писателя как Достоевский. Поразительна в этом отношении эволюция творческой манеры Федора Михайловича от *Преступления и наказания* до *Идиота*. Эта эволюция была блестяще показана одним из самых даровитых достоевсковедов нынешнего времени, В. А. Тунимановым, в его статье *Рассказчик в Бесах Достоевского*. Я привожу лишь основные моменты его анализа:

«Изменения коснулись самого существенного: отношений между автором и главным героем. Если в *Преступлении и наказании* автор стоит над героем, приподнят, хотя бы и на одну ступеньку, порой даже склонен к «суду» над ним, то в *Идиоте* автор и Мышкин находятся на «равной ноге», или герой вознесен над самим автором как недостижимый идеал. (. . .) Автор не просто заявляет о своей некомпетентности, растерянности, но и настаивает на принципиальном самоустранении. (. . .) Автор занимает позицию наблюдателя-хроникера, растерявшегося от обилия противоречивых слухов, фактов, гипотез; он пытается разобраться — и не может, жаждет найти верную разгадку — и отступает. (. . .) Герой переступает первоначально обозначенные для него границы, и автор с некоторым сожалением констатирует это спонтанное проявление «автономности». (. . .) Отказ от всеведения и непогрешимости глубоко и всесторонне мотивирован в романе; отказ этот определил и новые взаимоотношения между автором и героями. Любопытен и очевидный переворот к авторскому «самообнаружению»; следует, однако, отметить, что автор в *Идиоте* чаще всего обходится без указующего перста, прибегает к другим, косвенным приемам проведения своего мнения. Роль автора, как своеобразного медиума слухов и сплетен, целиком перейдет (и чрезвычайно расширится) к хроникеру *Бесов*. От автора-повествователя хроникер заимствует и принципиальный отказ от «всезнания», и способность ошибаться и сомневаться»²⁷.

²⁴ *Дневник писателя*, см. № 12, стр. 139.

²⁵ т. 17., стр. 151.

²⁶ т. 14., стр. 58.

²⁷ Исследования по поэтике и стилистике, Изд. Наука, Ленинградское отделение, Л., 1972, стр. 106—112.

Я склонен утверждать, что при всем кажущемся расстоянии между обоими «феноменами» существует некая связь между теорией отмирания монархического принципа в сознании Достоевского и новым определением у него отношений между автором, главным героем и остальными действующими лицами. Тут существует целая «корреспонденция» отражений, связанная система знаков.

Автор, по чисто художественным причинам, уже не может безотказно управлять толпой своих персонажей и, больше всего, главным из них, центральным героем. Появление хроникера, «как своеобразного медиума» между автором и действующими лицами как будто предвосхищает в другом плане необходимость Земского собора между монархом и его подданными. Идее непосредственного «звена» между самодержавием и народом соответствует необходимость появления третьего, доверенного лица между поэтом и его созданиями. Так уж усложняется и разветвляется новый мир на пороге жесточайших кризисов, которые ни один самодержец — пусть это монарх в собственной «империи», пусть это поэт в художественном мире, — не способен не только предотвратить, но еще более разрешить один.

Итак, поставив параллельно и в соотношение политические воззрения Достоевского и каноны его эстетической манеры, можно прийти к заключению, что художественная природа гения Федора Михайловича ничуть не «противоречит» его политическим убеждениям. Более того, сами эти убеждения бросают яркий свет на его творческие достижения, позволяя проникнуть до конца в тайник его поэтической лаборатории. Причем, бросая яркий свет на личность романиста, политические воззрения Достоевского получают обратно своеобразный свет от его художественной системы. Политика Достоевского так же поэтична, как и его поэтика сугубо идеологично-политическая.

Критический метод анализа сущности отношения автора к герою и отношений героев между собой освещает силовые линии, ось мировоззрения писателя и позволяет пересмотреть заново некоторые спорные или неразрешенные вопросы (один из них — настоящее содержание такого понятия, как «достоевщина»). Этот метод является, может быть, одним из привилегированных ключей к «форсированию» последних «тайн» сложнейшей личности Федора Михайловича Достоевского.

**Изображение пространственно-временных отношений в рассказе
Ю. Нагибина «Эхо»***

Й. А. МАТИ

За прошедшие полтора десятилетия отчасти под влиянием возрождения результатов некоторых предыдущих литературоведческих исследований, отчасти же вследствие развития этих результатов внимание исследователей как за рубежом, так и у нас, в Венгрии, снова обратилось к анализу пространственно-временных отношений литературного произведения. (Предшествующим форумом данной работы являлась научная конференция «Русистика», проводившаяся в 1977 году в Дебреценском университете им. Л. Кошута.) Лишь коротко указывая на предыдущие исследования, мы должны упомянуть таких известных предшественников, как некоторые сторонники одной из формалистических школ 1920-х гг., Опояза Жирмунский, Шкловский, Томашевский в ряде работ занимались изучением текста художественного произведения, соотношением рифмы, ритма и времени. Вслед за работами Ж. П. Сартра о творчестве Джойса и М. Пруста появилась богатая литература об анализе джойсовского и прустовского изображения времени, подобное положение наблюдается в области изучения техники времени в романах Томаса Манна.

Из работ известного советского ученого, М. Бахтина, написанных в 1937—38 гг., но дошедших до широкой венгерской публики лишь в 1976 году, заслуживает особого внимания изучение «хронотопа» в романах эпохи Ренессанса. Наверное, и возрождение интереса к работам Бахтина содействовало тому, что вышли в свет многочисленные статьи и сборники очерков советских авторов по вопросам эстетических качеств и функций художественного пространства и времени. Началом усиления этого процесса являлся Ленинградский симпозиум 1963 года по вопросам теории литературы, участники которого занимались методом и значением комплексного анализа художественного произведения. Заслуживают упоминания некоторые теоретические работы, написанные за прошедшие 15 лет. Из них отметим очерк Лотмана «О проблемах художественного пространства в прозе Гоголя» (1968), «О художественном произведении, как структуре» Сапарова (1968), «Психологию искусства» Выготского (1968), где

* Данная статья является частью другой, большей работы.

очень интересно мнение автора о параллели реального и художественного времени, или работа Кагана «Морфология искусства» (1972) и сборник очерков, изданный в Ленинграде в 1974 году под заглавием «Ритм, пространство и время в литературе и искусстве».

При обзоре перечисленных работ бросается в глаза, что они почти без исключения (кроме исследований Бахтина) рассматривают в отдельности изображение пространственно-временных отношений в художественном произведении, т. е. комплексность в конце концов не осуществляется. Только в вышеупомянутом сборнике 1974 года можно встретиться с устремлениями к комплексности анализа (Фортунагов: «Пространство — время — ритм в литературном произведении»; Каган: «Пространство и время в современном зарубежном романе».) Вероятно, за прежними терминологическими и методологическими дискуссиями последуют и новые, но все эти дискуссии подчиняются одной общей цели — более точному раскрытию существенных ценностей художественного произведения. Однако может возникнуть еще и такая опасность, что подробно, тщательному анализу подвергнутся в первую очередь такие произведения, где писатель пользуется временем и пространством для необычной, непривычной игры, напр. научно-фантастические романы, повести, рассказы. (В. В. Ивашева: «Категории пространства и времени», Вестник Московского университета, 1978/2). Хотя изображение пространственно-временных отношений, связь движения с пространством и временем, передача движения в данном произведении являются характерными и определяющими в структуре произведения, и как таковые, они могут анализироваться и определяться. Мы убеждены и в том, что изображение пространства, времени и движения играют определяющую роль не только в структуре произведения, но и в создании эстетических качеств и эмоционального влияния.

Предметом нашего анализа мы избрали произведение отличного представителя «четвертого поколения» советских прозаиков, Юрия Нагибина. Наш выбор мотивируется следующими аргументами:

- почти сорокалетнее творчество Юрия Нагибина дает возможность обобщения некоторых общих черт;
- нагибинский творческий метод вырос из классической русской и советской новеллы (Чехова, Бунина, Платонова, Паустовского);
- в новелле такого типа мы напрасно искали бы следов устремления к курьезу в изображении художественного пространства и времени, их нет. В нагибинской новелле пространство и время являются реальной рамкой содержания художественного произведения, изменяющееся пространство и время представляют собой источник изменяющегося эмоционального и эстетического влияний.

Обозрев повести, рассказы Нагибина, написанные после 1956 года, мы можем наблюдать некоторые повторения особенно в изображении художественного пространства. Искусство Нагибина является однозначно антропоморфическим искусством, оно направлено на анализ поведения, поступков человека, на поиски психологических мотиваций его поступков. Поэтому часто наблюдается изображение Нагибиным избранного человека или группы людей в за-

крытом пространстве. Закрытое пространство является пространством *бытия* и *действий* изображенных действующих лиц. Исходящие из закрытости специфические обстоятельства дают писателю возможность раскрыть скрытые, при других условиях с трудом или совсем не поддающиеся освещению свойства или мотивации поступков действующих лиц. Таковы напр. рассказы «Ранней весной» (1957), «Человек и дорога» (1958), «При дороге» (1960), «Стюардесса» (1960), «Поздней ночью» (1972) и др.

Подобным образом связано с писательскими намерениями, с изобразительным искусством присутствие *открытых пространств* в произведениях Нагибина. Мы имеем в виду утонченность изображения *природного пространства*. Эта черта, характеризующая нагибинское видение мира, уже с ранних его рассказов также является фактором антропоморфизма нагибинского искусства. Таким образом *природное пространство* у Нагибина гуманизировано. Выбор пространства, изображение его изменений тесно связаны с изменениями эмоций, характера, жизни изображаемого героя. Эта особенность бросается в глаза напр. в циклах новелл автобиографического характера («Чистые пруды», 1962; «Лето моего детства», «Переулки моего детства»), в большинстве новелл т. н. мещерского цикла («Погоня», 1962; «Когда утки в поре», 1963; и др.), а также и в рассказах на темы детства («Комаров», 1955; «Зеленая птица с красной головой», 1965; «Эхо», 1959).

Часто наблюдается и то, что писатель переводит своего героя из одного вида пространства (из закрытого пространства, т. е. из пространства бытия героя) в другое, открытое, т. е. в природное пространство. Результатом такого движения часто является обретение героем надежды на новые возможности, обновление, перерождение, иногда и надежды на победу над грозящей смертью. Таковы напр. рассказы «Зимний дуб» (1953), «Перекур» (1969), или «И вся последующая жизнь...» (1970).

Из человеческого склада Нагибина следует таким образом и детерминирующий его творческий метод элемент изображения почти без исключения жизненных ситуаций, эпизодов, происходящих в настоящем. У писателя мало таких произведений, которые являются продуктом писательской фантазии. К такому принадлежит напр. рассказ «Эхо». В рассказе про Витьку, некрасивую девочку-волшебницу рожденная писательской фантазией идея коллекционирования эхо красиво символизирует богатую детскую фантазию, а также нагибинскую тоску по счастливой невозвратимой поре детства. Несмотря на то, что сюжет на этот раз придуман Нагибиным, «Эхо» является полноценным нагибинским произведением. Его построение, изображение действующих лиц, обаятельный лиризм природы, изображение ее в гармонии с человеческой душой являются характерными чертами нагибинской поэтики.

Начало новеллы, два первых предложения точно определяют художественное пространство и время. «Синегория, берег, пустынный в послеполюденный час, девчонка, возникшая из моря... этому без малого тридцать лет!»¹

¹ Ю. Нагибин, Избранные произведения, т. I, Рассказы, М., «Художественная литература», 1973, стр. 198.

Таким введением писатель создает еще и важный фактор: возможность лирико-ностальгической интонации вспоминающего повествовательного писательского поведения.

Реальным пространством действия рассказа таким образом является природное пространство, т. е. берег моря. К представлению *пространства* писатель сразу же присоединяет и представление *времени*: «Я искал камешки *на ди-ком пляже*. **Накануне** штормило, волны, шипя, переползали пляж до белых стен приморского санатория. **Сейчас** *море* стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую, шоколадную с синим отливом, полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсо-санные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими ед-кий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные ка-мешки, и терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий на-мыв гальки» (198).

В вышеприведенном отрывке Нагибин дает параллельно представление пространства и времени. Представление времени возникает через изображение смежности и последовательности происшедших ранее природных явлений (буря, ее видимые последствия) и некоторых предметов, в то же время через передачу движения. Но писатель идет еще дальше. Его цель не просто порождение пред-ставления пространства и времени в фантазии писателя. Сознательный, забот-ливый выбор деталей, их смежность и последовательность, их качество, весь образ вместе с представлениями выражают и эмоциональное отношение писа-теля к изображенному и заставляют читателя переживать подобные настроения. Внимательно прочитав вышеприведенную цитату, мы можем убедиться в том, что писатель стремится к созданию определенной *гармонии*, таким образом представление пространства и времени *приятное*. Такое эстетическое влияние в полной мере гармонирует с ретроспективно-ностальгическим поведением пи-сателя. В первой части рассказа присутствует это приятное представление, дей-ствие гармонии, но уже предвещается нечто беспокоящее: «Утро было солнеч-ное, безветренное, но не жаркое. *Море* после шторма все еще *дышало холодом* и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папирос-ным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, *простор угрюмел*, как перед долгой непогодью, а *холодный ток* с моря разом *усиливался*» (201).

Постоянное присутствие природного пространства в ходе повествования, значит, является важным эстетическим и эмоциональным фактором и, как та-ковое, оно постоянно изменяется. К представлению морского берега, который в дальнейшем продолжает быть определенным уровнем для сравнения и удер-жания дистанции, постепенно присоединяется и представление стремящихся все выше и выше вершин гор: «Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открывая вид на бухту и наш посе-лок — жалкую горсточку домишек. *Огромное, серьезное море* простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными мутно-синими полосами, наложен-ными в небе одна над другой. А в бухте *оно* притворялось кротким и маленьким,

играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...» (201).

Заключительным аккордом первой части, и в то же время вершиной всего произведения является коллекционирование эхо. В этой части рассказа Нагибин создает новый способ передачи пространства. Откровение мальчику тайны эхо создается характерным для писательской фантазии богатством оттенков, волшебной, сказочной игрой, происходящей из эмоционального отношения, восхищения писателя природой, т. е. почти совершенным осуществлением иллюзии звуковых эффектов: «Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменной глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого — го!

Миг тишины, а затем, густой рокочущий голос трубно прогремел:

О — го — го — у!

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту.

Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька спросила:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

— Ева!» (204)

Знаок скрытых богатств природы, тайны эхо, Витька сама тоже проходит метаморфозу, ее скрытые сокровища также открываются перед удивленными глазами свидетеля: «С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с встрепанными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными блестящими глазами — она сама казалось мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня» (206).

Но мальчик — герой рассказа, оказывается недостойным сохранения тайны эхо. Его система ценностей — поскольку он находится на грани детства и взрослости — сильно изменяется, прежние ценности исчезают, новые еще не сформировались. В этой суматохе невозвратно проходит время, которое уносит с собой такую красоту, на месте которой иногда остаются лишь печальная пустота и вечная тоска взрослого человека по миру сказок, чистоты к красоте — доказывает Нагибин.

Вторая часть рассказа изображает процесс потери тайны, красоты, гармонии и осознания чувства потери. В соответствии с этим изменяются и пространственно-временные отношения. В эпизоде издевки над Витькой-волшебницей ход времени ускоряется, пространство — т. е. морской берег — остается неизменным. Вершину второй части, потерю тайны эхо писатель подготавливает наглядным рисунком природного пространства, т. е. морского берега и гор: «С утра моросило, горы затянуло сизобелыми, как бы мыльными облаками, к угрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы моря примешивался рокот набухших ручьев и речек» (209).

Это природное пространство относится враждебно к шумно пробивающемуся через него, не понимающему красот его тайн: «Орешник пахнет уже

не медово-сладким, с легкой пригорчью, духом, а гнилью палой листвы, кислотью размытой земли, в которой перетлевают что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях» (209).

Эстетическая вершина второй части рассказа, немое эхо, в то же время является эстетическим контрапунктом вершины первой части: «— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеет спина, сложил ладони рупором и закричал:

— Ого — го!

В ответ — тишина, ни зловеще-квядчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого — го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята вразнобой подхватили мой возглас. Чертов палец молчал» (210).

Так сменяют друг друга в красивой гармонии свет и тень, солнечный морской берег и мокрые, мрачные горы, радость и грусть.

Закончив анализ-эксперимент рассказа Нагибина, мы можем сделать следующие выводы:

1. В анализированном произведении изображение художественного пространства является важным эстетическим фактором композиции рассказа, настроений отдельных частей, контрапункта первой и второй частей.

2. В сочетании художественного пространства и времени (впрочем предполагающих друг друга) в этом случае ударение падает на изображение пространства, т. е. изображение времени отодвигается на задний план, поэтому оно не так богато и тонко, как изображение пространства.

3. Как уже было указано ранее, рассказ «Эхо» носит в себе основные черты нагибинского творчества и, по нашему мнению, он может служить соответствующей моделью для анализа специфичного и индивидуального видения мира писателя.

A Version of Mythopoetic Thinking: a Contribution
(Ivanov: Coloured Winds)

L. JAGUSZTIN

1. Every great artistic and cultural change is accompanied by an accumulation of experiences. The beginning of a new era creates its own dualistic, mythopoetic view to verify its existence. At the same time it also creates its models of plot with the structure and logic of a parable which convey the rules of moral behaviour to the individual, the hero of the time. The collective-minded mythopoetics and the individual-minded parable have, too, been imbued by the principle of the "хоровое начало". In it the superior voice and security of the choirs of the Greek tragedies which have always defined the recipient's identification with either one side or the other manifest themselves. The Soviet literature of the twenties, its allusive lyrics, mystery and forum theatre also set itself the task of appealing to the public mythopoetically and expressing the joy of the experience of acceptance in a "carnivalizing" manner. It asserted the popular tendency in this form of participation and sought its role in the re-definition of everyday life.

This pointedly historical way of thinking mythicized the recorded past in the notional spheres beyond the individual.¹ The sensitivity of artistic thought to culture at the turn of the century and during and after the revolution worked out two main methods of creating a work of art in a mythopoetically condensating and accumulating manner. Both of them derive their function of linguistic and poetic innovation from the disillusionment with reality, linguistic culture and spiritual observation. In the mythically, ecstatically structured world concepts the destruction and the creation of the world, the Messianic expectations were beyond the time limits of the present. Revolution meant fulfilment, the most complete future, the present that synthesized the negated past and the requested future.

The mythopoetic system chosen for describing the peripety was a direct result of the mature poetic ideas of the bourgeois view of life and history. The strengthening of mythopoetic thinking and cognition was not accidental because it was created by the acceptance and fear of the historical of idea and spirit.

¹ Mátrai: A kultúra történetisége (The Historism of Culture), Bp., 1977, p. 180

Indicating how the meaning of a psychological world and language view was being searched for at the turn of the century, Friedenberg defined the systematic relation of plot, genre and world view as follows: "the plot and the genre have a common genesis and they function together within the system of a given world view..."²

The real reason for the return to myth is that both its basic features, the "образ-понятие" distances of its ideological system and its narrative-poetic syncretisms, can be revived. Both of them correspond to the demands of the romantic expectation of change and self-expression. At the end of the last and the beginning of the new century the central orientation is defined by the nostalgia for the fragments of myth defending certain human conditions that are valuable. This is verified by V'acheslav Ivanov's, Mandel'shtam's, Jesenin's allusive cycles full of a mood of belief. Cognition is turned to the human genetics coded in psychic energy as opposed to matter by its own crisis of the turn of the century, its faith in the search for the essential and its illusions. All this is characterized by the enthusiasm and the belief of a language reform movement of a second enlightenment.

2. In one of the versions of mythopoetic thinking the building bricks of a world view possessing individual logic are the different elements and fragments of the whole of human culture. In the arbitrarily mythologized poetic systems the development of social meaning seems to fall into the background and become a puzzle, the unity of creation is ensured by the logic of "inorganic character". In these systems it is the originality of the association, the ingenuity of allusions and the security of mood that become important.

In this choice of poetic form, however, a definite social evaluation is given shape: the misunderstanding, abstraction and detemporization of the real social function of the revolution. It is by no means accidental that at this time the role of form in the creation of meaning is recognized and given a special emphasis, and this is one of the greatest poetic results of formalism. Shklovskij underlines the mechanism of the effects of the methodological formal device (приём), Eichenbaum pays attention to the possibilities of form that annihilate or discover content, Voloshinov highlights the interdependence of the mechanisms of value of content and of form, and one can meet similar recognition in Vinogradov's and Baxtin's works on prose poetics, too.³

It can be concluded from Mandel'shtam's, V'acheslav Ivanov's, Pasternak's, Blok's lyrics and Bunin's, Remizov's prose that in the world view and style of prose full of historical reminiscences, form does not convey the content but has direct value. The choice of form is nothing but the reinforcement of evaluation in the formation of meaning.

This mechanism manifests itself in both directions in the development of meaning. Neither the author's elaboration of his views, nor the arguing influence upon the recipient can do without the effectiveness of poetic devices. If the "образ" comes

² О. Фриденберг. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.

³ В. Волошинов. Слово в жизни и слово в поэзии. *Звезда*, 1926/6; (Б. Эйхенбаум. Трагедия и трагизм. Шкловский. Искусство как прием.

into prominence in the correlation of "образ-понятие", the evaluation reaches the recipient by means of form. In Balmont's, Blok's, Belyj's, Jesenin's, Mandel'shtam's, Majakovskij's studies on lyrical word it is the belief in the magic strength of the lyrical word that represents the common denominator.

3. The turn to the antropomorph sources of the ancient forms of rites is an archetypical methodological device, characteristic of historically critical situations. The social meanings of the different forms of behaviour sanctioned by human society become experience and information worthy of being preserved. Veselovskij's historico-poetic thoughts, Meletinskij's genesis of epic poems, Segal's semantic poetry recognize something in common. In them the collective awareness of condition and the individual's readiness for heroism are important factors in creating the conflicts of the epoch.⁴ They can be reorganized in two ways.

In one of them fate that is beyond the individual plays a dominant role, the other is characterized by the necessity and responsibility of choice. In literature, keeping the whole culture in evidence in a characteristically mythicized form, the mythopoetic world view means the former, or, to put it in another way: the intervention of historical meanings and values in the present. In Blok's, Belyj's symbolising works appealing to epochal self-expression in an individually mythological way, the causality of events is determined by the inertia of human experience.

Mythical ontological predestination, the heroic fatality of epic poems, the optimism of tales, and social accident seem to be attracted to one another. Blok sets culture up against civilization, unity against discontinuity, music against amusicality, musical time and space against calendar time and space as systems creating meaning, and, at the same time, he evaluates them by choosing a musical form (symphony in the poem "Twelve").⁶ Annenskij has already drawn our attention to the combined formation of meaning by linguistic modelling and music in his studies on poetry Книга Отражений (The Book of Reflections I-II). In the creation of musical meaning the harmony of cognition and self-expression that is capable of creating energy is guessed at, in the vital rhythm of producing and dispersing tension the self-creative, mythical power relations are believed to be experienced again. The creation of musical meaning, the "вторичная номинация" liberates the cognitive, intellectual and emotional active forces for the recipient and increases the opportunities for playfulness.⁷

4. In other types of conflict the poles opposite to man are indicated by nature.

Since the moral philosophy of the French enlightenment two things have been opposed to corrupt, human civilization: improved civilization or the natural simplicity of existence. When a revolutionary change is expected or prepared for and dominant meanings are sought, both versions come to life.

The time-tested laws of being get across in the dynamics of "стихийность". The processes in the formation of social meaning are supported and explained by

⁴ Сегал. Семантическая поэтика. *Hiero Slavica Solymitana*, Jerusalem, 1977.

⁵ Е. Мелетинский. Происхождение героического эпоса М., 1963; А. Веселовский. Историческая поэтика. Л., 1940.

⁶ А. Блок. Крушение гуманизма. Петроград, 1919.

⁷ В. Телия. Вторичная номинация и ее виды. М., 1977.

natural symbolism. The dual rhythm, evoked by mutual harmony, becomes a dominant principle of the two worlds developing parallelly in the poetics of narration. Behind the motion of the two worlds there lies, primarily, analogy. In this analogy the dual rhythm is established, in addition to the preservation of independence and self-interestedness with the help of the author's affirmation. Thus in the first place, the analogy means the analogy of causality.

In contrast to the technique of allusion and association (a much wider intellectual—informational background having been mobilized) the spiritual—poetic game is more homogenous in this version of mythologization, the author's presence is not so noticeable and it does not disrupt the processes of the world described with its manifestations (рассуждение) of clearly evaluated function.

The author's intellectual narration, polemically pushing forward—as can also be seen in "Coloured Winds"—upsets the undemonstrated balance, syncretism of man and nature, in order to make their relation more intimate on a higher level. Enriching its poetic devices, it transforms the epic narration into a poem. By this Vs. Ivanov breaks the world view of стихийность based on instinctive— anarchic naturalistic principles and by means of the author's poetic рассуждение—as opposed to Shishkov's, Jakovlev's, Nikitin's, Lidin's epics—his heroes approach and they are linked with the real ideological struggle of the present.

In "Coloured Winds", considered to be the part of the triptych written on the conflict of the revolution and peasant mind, the mythopoetic thinking, based on the principles of nature, undergoes a process of ideal clearing in the same rhythm as the narrator's point of view becomes intellectualized and transformed from the peasant world of images into the author's own view. We witness the exemplary realization of the усечённый сказ (limited narration), the number and strength of the author's interruptions increase.⁸ History and nature, narrator and nature really shine out in the context. The крестьянский уклон is strengthened to become a pantheistic hymn through the author's pathos.

The dispositional, emotional, rhythmical parallelism, "the exchange of characteristics", the "ambivalent antithesis" of man and nature change in two directions.

In one of them the characteristics of personality and nature correspond to one another in detail, one preparing the other, this representing historical changes.

"Колыхалась у Настасьи Максимовны твердая, порывистая грудь, словно бился под шейю подстреленный черныш-утец. Сизая, атласистая кофта. Капли крови по чернышу-птице — алые пуговицы."⁹ This outward appearance is associated in the first fragment with Sem'on's return from the man-hunt, but it also returns in the 27th, where it becomes a constant attribute:

"Мягко и быстро, как за ягодами пригибаясь, ходила Настасья Максимовна. Юбка красная. Грудь, как курица-черныш, подстреленная."¹⁰ The arbitrariness of the associative formation of meaning makes Nastas'ja's picture that makes a man's blood boil strange and weighty.

⁸ Мущенко—Скобелев—Кройчик. Поэтика сказа. Воронеж, 1978, стр. 203—207.

⁹ Вс. Иванов. Собранные сочинения в восьми томах. М., 1973, т. I, стр. 188.

¹⁰ V. Ivanov: *ibid.*, p. 255.

The different elements (forms and colours) of the bird—animal images individualize the appearance of the heroes:

“Прошла в пригон Фекла, деbeatая, туго поворотливая, как дрофа. С глазами маленькими, серыми, как у дрофы, в мутной пленочке. . . К щекам у Дмитрия широкий и желтый утиный нос. . . Размашистым шагом — неучуянным, волчьим, вошел с улицы Калистрат Ефимыч.”¹¹

“Ходила подле ворот, щупая землю тонкими, как перья гуся, пальцами, Устинья.”¹²

The green features of nature, its colours and its fragments of mood and objects represent the other line of the exchange of characteristics directed from man to nature:

“Лохматая, впрозелень, голова у попа Исидора. И голос глухой, прерывистый, пахнувший зеленью болот. Идет он широко, в темно-зеленой рясе. Кочка осокистая голова, кочки — лохматые руки. Подземная вода — глаза, ясные и пристальные.”¹³

“. . . плыла на улице зеленоватая жара.”¹⁴

“Остался один у окна волосатый в зелень поп Исидор.”¹⁵

And here is another type of image, pertaining to the impersonal narrator:

“. . . Как туча, обняла небо душа. Как травы — обняла землю. Костры мои желтые, птицы прелестные — глаза; голос — ветер луговой, зеленый и пахучий.”¹⁶

The other line of interrelation passes from nature to man:

“Небо камнем, как шарфом обложено.”¹⁷

“Шиповника ягода, как кровь, алая, тугая. Пахнет мокрым, гниющим листом. Камень — как мужик — смотрит упрямо и скупю.”¹⁸

“Охая, отдавали горы лохматые мужицкие песни.”⁹

“Тажными гулами пели телеги. Голоса раскатистые, как рев зверей. Звериные, сторожкие запахи шли с трав, с гор. . .”²⁰

“Земля плакала, слезилась. Туча как бельмо в небе.”²¹

“Спят самогонным угарным сном крыши Талицы. И небо над крышами спит — самогонно-синее сквозь облака, как голый мужик, в разорванных лохмотьях.”²²

¹² V. Ivanov: *ibid.*, p. 193.

¹³ V. Ivanov: *ibid.*, p. 198.

¹⁴ V. Ivanov: *ibid.*, p. 196.

¹⁵ V. Ivanov: *ibid.*, p. 197.

¹⁶ V. Ivanov: *ibid.*, p. 198.

¹⁷ V. Ivanov: *ibid.*, p. 254.

¹⁸ V. Ivanov: *ibid.*, p. 186.

¹⁹ V. Ivanov: *ibid.*, p. 254.

²⁰ V. Ivanov: *ibid.*, p. 263.

²¹ V. Ivanov: *ibid.*, p. 264.

²² V. Ivanov: *ibid.*, p. 273.

²³ V. Ivanov: *ibid.*, p. 275.

The social meaning of Ivanov's biologism for which he has so often been blamed is represented in "Coloured Winds" without stylistic exaggerations. The "unidirectional" skaz—to use Kozhevnikova's functional notion of style—unites the author's evaluation with that of the heroes, the orientation on the spoken language with the logic of narrative writing in the narrative voice.²³ The mythopoeticism of the image fragments chosen as examples manifests itself in this uniting semantic gesture. In the shared features common fate struggles for existence. The simple experience of nature by the peasant mind which respects fellow sufferers becomes enriched and seems to adopt the nature of a poem in the narrator's dominantly visual depiction of the experience of being.

For the narrator the synonyms of the human being and of nature always represent a value worth telling. "Логика повествования в сказе объясняется не логикой самодвижения жизни, а логикой мотивов суждений и действий рассказчика."²⁴ The details chosen are bound together by the narrative tension of viewing the events, and by this a tension in the logic of the events is also created. It is usually achieved by the unidirectional skaz and the positive argumentation.

When the narrative motivation fills up emotionally in the unidirectional skaz and the events are accompanied by a rising span, approving and encouraging argumentation, the mythopoetic narration becomes complete. The evaluating unidirectional character, the "odnonapravlennost" creates a kind of special narrative dimension which becomes increasingly evident. The judgements of the "рассуждение" type make up fragments of monologue, and though they slow the reading down and fail to fit organically into the events, their existence is justified in the system of the mythopoetic world view taken as a whole. From a historical point of view the oscillation, the exchange of characteristics, becomes unidirectional, the fight of the human being, the desire for fulfilment in the social sphere absorbs nature's desire for innovation as well. In synchronicity the synonymic character becomes compressed into identity and it stops following particular motions, being the concomitant of collective ones.

"Coloured Winds" is made up of forty-three fragments. From about the 17th chapter onwards the narrator's presence is strengthened. Until that point the details which do not belong to the plot and which arouse the reader's awareness of nature, flash as montages, creating a mysterious mood by their inorganic character and having no purport of "рассуждение", evaluation.

— А ты тут зверя красного подстрелил?.. Хо-о!.. В Расеи-то не стреляют еще...

— Придется и там...

— Придется, — ответил Дмитрий, и его толстые угловатые челюсти, похожие на лемехи, медленно зашевелились.

Розоватая жаркая дымка радовалась над поселком. Блестящие желто-синие падали на землю с золотисто-лазурных облаков Гарбатыйские горы. Пахло из палисадника засыхающей, спелой черемухой.

²³ Н. А. Кожевникова. Отражение функциональных стилей в советской прозе. (Вопросы языка современной русской литературы) М., 1971.

²⁴ Мушченко—Скобелев—Кройчик. Поэтика сказа., Воронеж, 1978, стр. 231.

— Керенку выдали?

— Не хотели было, свидетелей, грит, надо...²⁵

And here is another example of rhythm-creating inorganic character:

“Утром русские бежали дальше, на юг, пробирались камнями. Ушел ветер, и пахла земля горячими травами. Низко трепыхалось в горных речушках блекло-синее небо, как огромная синяя рыба. А вершины гор были как красные утки в синих облаках.

А тело человека просила земля — твердо и повелительно. А душу его просили горы.”²⁶

In the approximately 5 thousand sentences of the whole work the still closer links of man and nature are established by about 250 comparisons, metaphors and 400 colour epithets. The view is dominated by blue, green, yellow, pink season colours. The fragments of events are broken up into patches of colours, transformed into colour moods, by the landscape insertions. Therefore the author's orientation on poetic saturation is more intensive than it usually is in epic works. But the poetic character does not aim at ornamentation, first of all. The impressionistic formation of images serves for the ideal elaboration of the “разворачивание фабулы и иген” principle and its essence is return. Above the linguistic-poetic “substratum” there appears a “superstratum”: the poetic-energetic “cream”.

Placed outside the text, the “Coloured Winds” (Цветные ветра) in the title bring about a turn of mood and convey the dynamics of events, the fulfilment of regular changes is presupposed in them:

“В эту ночь дул в Гарбагатайских горах с севера, с далекого моря синий, льдистый ветер. Нес он запахи льдов и холодил души... В эту ночь говорил только ветер, густым и нечеловеческим голосом.”²⁷ The motion of nature obtains an epochal significance in the narrator's recognitions.²⁸ Just as if Blok's system were verified, it is the logic and the mysterious meanings of musical harmony opposed to civilization that bring about order in the events. Happening is dominated by the magic word of the wind. In this magic word language and spirit triumphs over the causal world of reality. It saves the heroes and throws light upon the essence of events.

Viewing social fermentation precoded in the motion of nature, the enthusiastic author makes the key message of the work more and more optimistic. The nadir flashes up in the worry before the struggle of bylina size:

“Каменная тропа звонкая. На душе тропа тяжелее — не взберешься, не оглянешься. Молчи и подымайся, а не то пропасть. Гибель.”²⁹

The change is emphasized in the monologue fragments of the “поэтическое обращение” the poetic appeal. In his talks with nature the author-narrator destroys the polyharmony of the skaz. The solution to the conflict in the opening

²⁵ V. Ivanov: see note 9, *ibid.*, p. 192–193.

²⁶ V. Ivanov: *ibid.*, p. 195

²⁷ V. Ivanov: *ibid.*, p. 195.

²⁸ Hongor Ovlahoft: *The Serapion Brothers*, The Hague, 1966, 69–71.

²⁹ V. Ivanov: see note 9, *ibid.*, p. 261.

sentences of Chapter 17 will gradually be intensified in the author's rhetoric insertions of embryonic length. It is a solution to the conflict in the sense of attraction and repulsion, creating and dispersing tension.³⁰ According to the dominant direction:

“Эх, земли вы мои, земли! Ветер алтайский пахучий! Медоносные пыли на душе, и язык, как журавль на перелете, тоскует.”³¹

Here the basic problem of mythopoetic thinking already mentioned is given shape: the dissatisfaction with language and cognition, the struggle of the failure of expression with the world of presupposed guesses, with the sensation of thought of the metamorphosis in the world order being necessary and long expected. In this respect L. Borovoj is right in stating that:

“Впрочем, центральное место в повести занимают даже не ‘восстания’, а физиологические, и в первую очередь половой, инстинкты людей. И лексика и синтаксис приличны этому внутреннему движению повести...”³² But it is only the first half of this statement that is completely true. The events and the story are really represented by the technique of a shadow theatre, observing a kind of epic distance from which the concrete social significance cannot even be discerned in its real quality.

Presentiment, however, is intensified: the direction of the general field of force and motions, and the notion of the mythopoetic world view are aimed precisely at verifying it. They are also aimed at verifying the transformation of the concrete to the universal, the right evaluation of the rough, contrasted phenomena (force, blood, destruction) of humanization.

This is why the real conflicts of facts appear in a slightly paradoxical, frightening, perfunctory way. The mythicizing withdrawal from the historical, the pathetic nature of natural principles handle the facts bringing about revolution in a vulgarizing manner and play them down because of their contradictory character. One should only have in mind the peasants' delegation who want to put the reds to their service, Nikitin's two death sentences passed on Dmitriy and the saboteur. A mistake and an improper sacrifice glew up in both of them. Or one can think of the distortions of the search for a new faith in the case of Kalistrat Jefimych, the wrestlers' biblical struggle, the folk etymology distorting notions (“Толчак”), etc. In the apocalyptically serious background of a changing world the paradoxical flashes, however, are reminiscent of the carnival character, the mystery mood, the joy of a happy destruction. They culminate in the wrestler's gladiatorial duel scene.³³ The level of linguistic reflection also conveys the representation of history in a vulgar, unworthy way. The heated biological idolatry of peasant life, its awareness of body and desire for land warmed up by social turmoil have a somewhat “баларан” mood, and it cannot even be destroyed by the final scene in which the joy of land and the small of bread

³⁰ Э. Эткинд. Материя стиха. Париж, 1978, стр. 230.

³¹ V. Ivanov: see note 9, *ibid.*, p. 230.

³² Л. Боровой. Язык писателя.

³³ Б. М. Гаспаров. Поэма Блока «Двенадцать» и некоторые проблемы карнавализации в искусстве начала XX века
Hiero Slavica Solymitana, Jerusalem, 1977, p. 109.

can be felt: "Из мешка густо пахнуло на Павла хлебом..."³⁴ The end has only a calming effect but it is not at all comforting, the story merely ends, only a temporary calmness comes about. Nature and life-giving land win, but social motion has not yet come to a standstill. This is why the author's irony has the effect of affected seriousness.

In a world fitted for the peasant mind and consciousness language really fights for recognition and evaluation. Its results are the dialogues aimed at the analysis of situations, the thesis-like judgements which constitute the pillars of the mythopoeticized world view. The refrain sentence of the first chapter is:

"Бей дрофу в голову!"³⁵

"Терпеть должно, надо. Больше што я скажу? Я, Настасьюшка, много вер прошел, все бают: Терпеть. Ну, терпеть — как терпеть."³⁶

In the dialogues of the notional and linguistic fight with reality, the striving for understanding always simplifies social motion towards natural existence and being together with the nourishing land. In the dialogues philosophizing theoretization gains the upper hand. The situations of being, instinctual life, love do not only appear to delight with their full-bloodedness, but also serve as a living-space where thought (мысль) is born. The synchronism of being with the quality of life and thought one has suffered for is admired by the narrator, too. From the struggle with the tension of a Russian—Kirghiz epic poem, the repetition of the exchanges of characteristics directed from man to nature become more frequent, and personification appears in full images:

"Дышат — хлебом — пьяным запахом мужики. Небо хмельное, играет над поляной."³⁷

In the monologues of persuasion it is this closeness to ideas that is given shape. Emotional identification is verified and intensified. The deficiency in reality of the descriptive fragment scenes is completed and retrieved by the evaluative returns to historical events.

In the process of the revolutionary change of life and views Ivanov tries to represent the moments hidden in the deep strata of collective and personal psychology in order to make fate conformable to the laws and to make what can only be seen superficially have the validity of fate. In his lyrico-epic synchronism Ivanov dissolves the naturalistic, regional shades of the epic details, cancels their local value by means of accomplishing the range of lyrical judgement of value, as the "inner form" of words is shaped by him in the space of associations of a world view based on the principles of nature. He glorifies the psychologizing line of cognition searching for the essential, as every mythopoetic system does, and proclaims the magic force of notions over non-recurring reality. He represents the dominance of judgement as to value as opposed to epic descriptive narration—it is in this line that he means to dissolve the deep feeling of dissatisfaction with the linguistic expressibility of cognition.

³⁴ V. Ivanov: see note 9. *ibid.*, p. 306.

³⁵ V. Ivanov: *ibid.*, p. 186.

³⁶ V. Ivanov: *ibid.*, p. 188.

³⁷ V. Ivanov: *ibid.*, p. 280.

Critica et Bibliographia

Б. А. Успенский: Первая русская грамматика на родном языке
Издательство «Наука», Москва, 1975.

Значение этой книги нельзя определить точнее, чем это сделано выпустившим ее Институтом русского языка АН СССР: «Работа представляет собой исследование обнаруженной автором в фондах Библиотеки АН СССР не известной до сих пор рукописной грамматики 30-ых годов XVIII в., которая является первым опытом кодификации русской речи. Автором этой грамматики, как доказывается в работе, был В. Е. Адодуров — первый русский адъюнкт Академии наук. Рассмотрение данной грамматики, ее источников и последующей судьбы дает основание говорить об особом — доломоновском — периоде отечественной русистики». Значит, можно сразу установить, что настоящая работа революционизировала наши знания об истории русистики, и этот факт, по нашему мнению, должен скоро отразиться и на подготовке филологов-русистов и в Венгрии. Речь идет именно о том, что до сих пор «летоисчисление русской грамматикографии» начиналось с выхода в свет «Российской грамматики» М. В. Ломоносова в 1757-ом году, и теперь эта дата отодвинулась назад приблизительно на 20 лет. По нашим сведениям, это не учтено пособиями, предназначенными для венгерских студентов-русистов, вышедшими за последние годы. Правда, рецензируемая книга вышла только в 1975-ом году, однако Б. А. Успенский написал два сообщения о своих исследованиях еще до этого (см. *Вопросы языкознания* 1972/6, 1974/2).

В то же время, как это подчеркивается автором уже в введении, грамматика Адодурова ничуть не уменьшает значения грамматики Ломоносова, а наоборот, она способствует более точному определению исторических условий появления последней и делает их гораздо понятней.

Как это известно, доломоновские грамматики русского языка (т. е. те, которые описывали не церковнославянский, а именно русский язык) были написаны на каком-либо иностранном языке. Самая, можно сказать, известная из них — благодаря отличным анализам Б. А. Ларина, С. П. Обнорского и Б. О. Унбегауна¹ — *Grammatica Russica* Лудольфа, написанная

¹ Генрих Вильгельм Лудольф. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. Переиздание, перевод, вступ. статья и примечания Б. А. Ларина. Л., 1937 («Материалы и исследования по истории русского языка», I); С. П. Обнорский. Русская грамматика Лудольфа 1696 г. В кн.: Советское языкознание, т. 3, Л., 1937, стр. 41—58, эта его работа переиздавалась в кн.: С. П. Обнорский. Избранные работы по русскому языку. М., 1960; Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica. Oxonii A. D. MDCXCVI. Ed. by B. O. Unbegaun. Oxford, 1959; B. O. Unbegaun: Russian Grammars before Lomonosov. "Oxford Slavonic Papers", VIII, 1958.

по-латыни. Интересно отметить, что среди других немногочисленных произведений подобного характера² мы находим и грамматику самого Адодунова, написанную на немецком языке и вышедшую в качестве приложения к немецко-русскому словарю в 1731-ом году. Наиважнейшим открытием Б. А. Успенского является то, что одна из вышеупомянутых иноязычных грамматик — Гренинга — представляет собой прямой дословный перевод другой, до сих пор неизвестной, сохранившейся в рукописи грамматики Адодунова, написанной на русском языке (стр. 12). Заслуживает внимания подстрочное примечание Б. А. Успенского на той же странице: о рукописной грамматике упоминает Р. О. Якобсон в одном из своих писем Д. Н. Ушакову. Это письмо находится в архиве Г. О. Винокура. Значит, о существовании этой грамматики знали три выдающихся русиста, но все-таки до Б. А. Успенского никто не открыл ее для научной общественности.

Что же представляет собой найденное произведение Адодунова? По словам Б. А. Успенского, некий Иван Михайлович Сердюков, слушатель гимназии при Академии наук между 1735—1743 годами записал (по всей вероятности, вместе со своими товарищами) серию лекций о русской грамматике, точнее, переписал уже готовый оригинал. По данным исследований переписывание могло продолжаться от июня 1738 года до июня 1739 года. Данная рукопись, содержащая 149 страниц, среди и после которых много пустых мест, пропусков, является первой частью грамматики, которая должна была состоять из 4 разделов: «Орфография», «Этимология», «Синтаксис», «Просодия» (об этом, между прочим, можем читать в введении к ней). Стоит привести следующее предложение Б. А. Успенского: «Уже первое знакомство с данной рукописью не оставляет сомнения том, что дело идет о грамматике именно русского языка, совершенно оригинальной и во многом революционной» (стр. 17). Это высказывание подтверждается тем, что автор произведения, Адодунов, предлагает отменить букву ъ (в 1738!), последовательно проводит фонетический принцип орфографии, также довольно последовательно различает букву и звук, четко отделяет друг от друга церковнославянские и собственно русские элементы.

После этого Б. А. Успенский доказывает, что среди упомянутых выше доломоновских грамматик работа Гренинга представляет собой буквальный перевод найденной им рукописи. Но вышедшая в 1750 грамматика Гренинга содержит не только перевод введения («О грамматике вообще») и первой части («Орфография»), а также еще двух последующих («Этимология», «Синтаксис»). В шведском переводе печатается также и текст тех мест, которые были пропущены переписчиком адодуновской грамматики, возможно, для позднейшего заполнения. Все это делает вероятным предположение о том, что в основу перевода Гренинга лег не список, открытый Б. А. Успенским, а другой, более полный, и проливает свет также на то, почему исследователи грамматики Гренинга (среди них Б. О. Унбегаун, на которого Б. А. Успенский часто ссылается) отмечали поразительное сходство между известной грамматикой Адодунова 1731-го года, написанной по-немецки, и работой Гренинга. Б. О. Унбегаун прямо так и заявляет, что морфологический раздел гренингской грамматики нельзя считать оригинальной, в такой степени он связан с соответствующей частью грамматики Адодунова 1731 года. Все это верно и в отношении синтаксиса³.

Авторство Адодунова доказывается и тем, что открытая теперь рукопись обнаруживает ряд разительных сходств с другими, меньшими по объему работами Адодунова, известными

² И. Горлицкий. *Grammaire françoise et russe en langue moderne accompagnée d'un petit dictionnaire pour la facilité du commerce*. Грамматика французская и руская нынѣшняго языка сообщена съ малым Лексиконом ради удобности сообщества. СПб., 1730; Michael Groening. *Rossijская грамматика*. Thet är Grammatica Russica, eller Grundelig Handledning til Ryska Språket. Stockholm, 1750.

³ В. О. Unbegaun: *Russian Grammars before Lomonosov*. "Oxford Slavonic Papers", VIII, 1958, стр. 115 (ссылка Б. А. Успенского).

и доныне. К числу таковых относится «Заметка о ѣ и ѣ», в которой Адогуров развивает те же концепции, что и в найденной грамматике. Обе работы очень близки друг к другу текстуально, хотя и не совпадают дословно. Само собой разумеется, что эта же часть очень похожа и на соответствующее место грамматики Адогурова 1731 года. Развиваемые им взгляды на различие между *ѣ* и *е* в найденной грамматике тоже совпадают с соответствующими местами грамматики 1731 года. Точно также он предлагает и в той и в другой своей работе ввести букву *г* для обозначения взрывного [g]. Б. А. Успенский подчеркивает революционность этого предложения (стр. 31), поскольку оно направлено на канонизацию живой, а не книжной, произносительной нормы. Таким же революционным можно считать признание «полных прав» за лигатурой *іо*, без которой нельзя зафиксировать живую русскую речь. Ко всему этому можно добавить, что о применении титулов рукописная грамматика говорит в том же духе, как и грамматика 1731 года. Недостающий в первой текст Гренинг даже воспроизводит из второй, как это показано тщательным анализом текстов, произведенным Б. А. Успенским, с основанием пришедшим к такому выводу: «... следует особенно подчеркнуть, что и те немногочисленные места в первой части стокгольмского издания, которые отсутствуют в соответствующем русском тексте... в целом ряде случаев обнаруживают совпадения с адогуровскими сочинениями... Подобные примеры подтверждают как предположение об авторстве Адогурова, так и предположение о том, что различия между соответствующими русским и шведским текстами обусловлены скорее всего не инициативой Гренинга». (стр. 43—44)

Раннее творчество Адогурова, как и должность, занимаемая им в 1730-ые годы (адъюнкт Академии наук, по свидетельству сохранившихся документов которому было поручено заниматься лингвистическими вопросами) как бы «обrekli» его на написание грамматики русского языка. Документ от 1740 года упоминает о том, что Адогуров работает над таким сочинением, стало быть, обнаруженная теперь рукопись, датированная 1738—1739 годами, может быть ранним его вариантом. Поскольку настоящая грамматика представляла собою материал для гимназии при Академии наук, Адогуров мог передать свою собственную рукопись слушателям, в том числе и И. М. Сердюкову. А Гренинг, преподававший в гимназии немецкий и французский языки с 1743 года, мог легко достать и эту грамматику — как это было сказано выше, ее более полный список — и грамматику Адогурова 1731 года, написанную по-немецки, и другие его сочинения. На их основе он мог подготовить издание дословного перевода грамматики на шведском языке, которое до сих пор считалось его более или менее самостоятельной, творческой работой.

Как могло случиться, что это сочинение, располагающееся столь отличными особенностями и во многом опередившее свой век, могло оставаться забытым на протяжении более двухсот лет? Б. А. Успенский объясняет это «смутным временем», последовавшим в жизни Академии от 1741 до 1766 года. Оно остается неизвестным уже современникам Адогурова, в том числе и Ломоносову. Но выдающийся деятель русской филологии XVIII в. В. К. Тредиаковский был несомненно знаком и с самим Адогуровым, и с его сочинениями. Во многих важных вопросах они занимают одинаковую позицию. Совпадают их мнения о том, что в основе орфографии должен лежать фонетический принцип, что застывшее церковное употребление и вытекающие из него орфографические особенности должны быть четко отделены от живых языковых фактов, и т. д. Кроме этих важных принципов они сходятся и во многих частных вопросах (ср. напр. проблему еров, исключение фиты из гражданского письма, осуществленное только в 1917 году⁴, определение слогораздела, и т. д.). Б. А. Успенский убедительно, с приведением множества цитат доказывает и то, что здесь отражается не только сходность идей, а часто обнаруживается и текстуальная близость их трудов. Поскольку Адогуров написал свою грамматику на рубеже 30/40-ых годов XVIII в., а Тредиаковский развертывает свои взгляды в «Разговоре между чужестранным человеком и российским об орфог-

⁴ В. А. Истрин. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963, стр. 59.

рафии», вышедшем в 1748, несомненно, что Адогуров в значительной степени повлиял на него. Как пишет Б. А. Успенский, «...мы во всяком случае можем утверждать, что «Разговор об орфографии...» Третьяковского явился в той или иной мере проводником лингвистических взглядов Адогурова: многие идеи, которые приписывались как современниками, так и позднейшими исследователями Третьяковскому, были впервые высказаны Адогуровым» (стр. 71)

Из тщательного сравнения сочинений Адогурова и Третьяковского Б. А. Успенский вывел еще один немаловажный факт: у них был и общий источник, на который ссылаются оба, хотя не всегда положительно. Этот общий источник был, как доказывает Б. А. Успенский, не дошедшая до нас работа В. Н. Татищева. Его мысль об употреблении букв *сч* вместо *щ* отвергается и Адогуровым, и Третьяковским, зато оба они поддерживают предложение Татищева, согласно которому следует устранить ижицу при транслитерации слов греческого происхождения. Тут и Татищев опередил свой век, потому что ижица была исключена из русского алфавита только в 1917⁵.

Б. А. Успенский подводит итоги своей работы следующим образом: его целью было «а) обосновать самый факт существования доломоновской грамматики на родном языке; б) показать, что грамматика М. Гренинга представляет собой не оригинальное сочинение, а перевод этой грамматики на шведский язык; в) доказать, что автором данной грамматики был В. Е. Адогуров; г) определить место грамматики Адогурова в доломоновской русистике» (стр. 87). В связи с этим стоит подытожить и то, что автор книги пишет об отношении между Ломоносовым и Адогуровым. Хотя и Ломоносов не знал данной грамматики, но все-таки в них много общего, что проистекает с одной стороны из того, что оба они занимались и точными науками (Адогуров был известным математиком своего времени), с другой стороны, Ломоносову были известны адогуровская грамматика 1731 года и те сочинения, которые отражают и взгляды Адогурова (напр. «Разговор об орфографии» Третьяковского). Б. А. Успенский отмечает и то, что Адогуров во многих своих суждениях был радикальнее Ломоносова, напр., как это уже было сказано, он был более последователен в разграничении церковнославянских и живых русских языковых фактов.

Во второй части автор книги печатает текст найденной им рукописной грамматики Адогурова с текстологическими примечаниями. Примечания эти Б. А. Успенский назвал текстологическими потому, что они касаются на самом деле только текста, а не содержания. В них он использует и шведский текст грамматики Гренинга, если приходится воспроизводить неразборчивые, зачеркнутые места рукописной грамматики. К шведскому же тексту он прибегает и в тех случаях, когда последний, подготовленный, как на это было указано, на основе другого списка, расходится с адогуровской грамматикой.

Содержанием текста занимается следующая часть приложения, названная автором книги «Объяснительным комментарием». В ней Б. А. Успенский сравнивает некоторые высказывания Адогурова с его мыслями, выраженными в грамматике 1731 года, а также с взглядами других упомянутых выдающихся русистов того времени. Вместе с тем перед читателем раскрываются суждения Адогурова в более широком плане.

Рецензент должен извиниться за то, что так подробно остановился на содержании первой части книги Б. А. Успенского. Но по нашему убеждению, мы должны были поступить так, потому что в венгерской русистике еще не обращалось достаточно внимания на это достижение науки, которое мы считаем одним из самых значительных в русистике последних лет. С другой стороны, это обусловлено еще и тем, что книга Б. А. Успенского представляет собой образцовый филологический в настоящем смысле слова труд. Он излагает свои мысли очень логично. Его книга читается с большим интересом, причем требует и пристального внимания, потому что в каждой строке, в каждом подстрочном примечании высказывается что-то новое,

⁵ В. А. Истрин. ук. соч., стр. 60.

вытекающее из уже сказанного, без чего нельзя понять и последующее. Автор книги убедительно доказывает тот факт, что первая русская грамматика на русском языке была написана не Ломоносовым, а Адодуровым. Эта первая грамматика никак не заслужила больше чем двухсотлетнего забвения. Важнейшей заслугой Б. А. Успенского перед наукой является ее открытие, описание и опубликование.

П. ЛИЛИ

Sesja poświęcoea Sobieskiemu

Wrocław—Oława 22—23 września 1979 r.

Sesja poświęcona pamięci Leszczyńskiego (1977) była dowodem ożywienia się badań historii kultury na przełomie XVII i XVIII wieków. Obecnie została urządzona międzynarodowa sesja naukowa z okazji 350 rocznicy urodzenia Sobieskiego, która zwróciła uwagę na okres poprzedzający lat polskiego baroku. Konferencja trwała dwa dni, a organizatorem jej Komisja Nauk Humanistycznych Oddziału PAN we Wrocławiu, Instytut Historii Uniwersytetu we Wrocławiu, Towarzystwo Społeczno-kulturalne Dolnego Śląska i Stowarzyszenie Historii Miejscowej w Oławie.

Tematyka sesji obejmowała zagadnienia działalności politycznej i społecznej oraz uczestnictwo w życiu ziemiankim, rodzinnym, dworskim i państwowym przodków, działalność i uczestnictwo to doprowadziło do koronacji (A. Witusik, W. Czaplński, J. Seredyka, Z. Trawicka, H. Kotarski). Część referatów poświęcona była akcjom wojskowym, walkom w zakresie polityki wewnętrznej i zewnętrznej przed wstąpieniem na tron Jana III. Sobieskiego (A. Przyboś, K. Krupiński, J. Wimmer). W przedstawionych zagadnieniach historii i historii społeczeństwa (K. Matwijowski, E. Cieślak, R. Szczygieł, J. Jańczak, K. Grygajtis, M. Wagner) wskazywano przede wszystkim na zależności dworu królewskiego od czynników lokalnych (Gdańsk, Zamość, Gniew itp.). Następną część referatów poświęcona była odgrywającym pierwszorzędną rolę związkom dyplomacji francuskiej i polityki zagranicznej Austrii oraz odsiczy wiedeńskiej (1683) z punktu widzenia Anglii (S. Grzybowski), a stosunkom Europy Północnej i Środkowo—Wschodniej (G. Jonasson, M. Smerda, V. Ciobanu, L. Hopp) w perspektywie polityki szwedzkiej, czeskiej, rumuńskiej, węgierskiej. Do grupy referatów poruszających problemy legendy ostatnich lat polskiego władcy otoczonego do pewnego czasu aureolą baroku oraz faktów rzeczywistych, jak również problemy konieczności współczesnej edycji Korespondencji pomiędzy Marysieńką Sobieską królową Marią Kazimiłą de la Grange d'Arquien i królem, która posiada wartości historyczne i literackie, dołączyć trzeba referaty o okolicznościach śmierci Sobieskiego (M. Komasiński) i o okresie do nowej elekcji przedstawionym w *Mémoires* Mougrollona (Ł. Częścik).

Następna grupa materiałów konferencji porusza problemy kontynuacji kultu Sobieskiego w czasach saskich oraz losów rodu Sobieskich. Referat Z. Libiszowskiej podejmujący między innymi tematykę kultu Sobieskiego „poszerzył” włoski referent o historię pobytu wdowy w Rzymie. O komplikacjach elekcyjnych była mowa przy omawianiu zagadnienia kandydowania Jakuba Sobieskiego na tron królewski (1696) w świetle publicystyki (S. Orszulik). Legendy i nostalgia za narodowym królem żyły dalej w czasach królów saskich w pamiątkach literackich, w prozie i poezji, w kalendarzach różnych wartości, istniejących w całej Polsce, i temu tematowi poświęcone było kilka referatów (K. Maliszewski, J. K. Rubinkowski, B. Rok, J. Szkoda). W pierwszych latach hiszpańskiej wojny sukcesyjnej i wojny północnej pojawili się na scenie politycznej królewiczowie (Jakub, Aleksander, Konstanty, Sobiescy) jako kontrkandydaci Augusta II., a później — w czasach Stanisława Leszczyńskiego — nie tylko na scenie polskiej, lecz także węgierskiej — w czasach Rákóczi (J. Gierowski, J. Staszewski, M. Drozdowski).

W wymienionych referatach poruszano częściowo problematykę historii kultury, która była przedmiotem kilku oddzielnych referatów (W. Roszkowska, W. Odyniec). Referenci podejmujący

zagadnienia mecenatu Sobieskich omawiali tę tematykę w zakresie mecenatu króla, królowej i królewiczów. Dyrektor muzeum Pałacu w Wilanowie opowiadał o połączeniu i ogólnym wrażeniu gustów artystycznych, o kulturowej pożyteczności rozrywek króla i królowej. Sobieski przebudował Pałac w Wilanowie; przekształcił również swoje patriarchalne gniazda w posiadłościach rozciągających się południowo-wschodnich kresach Polski w rezydencje rodzinne innego typu. W okolicach Lwowa wydzielić można obszar architektoniczny, którego cechą jest styl związany z osobistym gustem Sobieskiego i wersją sarmackiego baroku. Drugim centrum tego obszaru jest Żółkiew, ale również Kukizów znany z piętrowego drewnianego pałacu myśliwskiego, Wysocko z drewnianego pałacu z ogrodem, ulubiony dom Marysieńki i Sobieskiego oraz Jaworów z pięknego drewnianego pałacu z ogrodem francuskim, z domku urządzonego z pompą magnacką. Zabytki architektury i ornamentyki, kościelnego i historycznego malarstwa portretowego oraz sztuki użytkowej mówią o lokalnej tradycji, o rozwoju działalności artystycznej mistrzów zagranicznych, a przede wszystkim lokalnych. Ale o tym również, że na tym obszarze swobodniej mógł przejawiać się gust króla-mecenas, niż w Wilanowie. W pierwszych dziesięcioleciach wieku XVIII najmłodszy królewicz Konstanty Sobieski kontynuował wiernie tradycję rodzinną w pałacu w Żółkiewie. Ciekawą rzeczą jest, że we wspomnianych miejscach bywali i Węgrzy, książę Rákóczi ze swoją żoną. Byli wśród niej i tacy, którzy dobrze władali piórem (Bercsényi Miklós, Forgách Simon, Vay Ádám, Ráday Pál, Pápai János, Mikes Kelemen), i w ten sposób mogli obejrzeć zabytki polskiego baroku w całej swej okazałości. Naukowa wymiana poglądów dotycząca różnych dziedzin życia Sobieskiego próbowała omówić wszechstronną działalność króla jako męża stanu, człowieka dworskiego, naczelnego wodza, dyplomaty, polityka, mecenasa, autora korespondencji oraz ocenić krajowe i międzynarodowe znaczenie jego panowania. Zwróciła również uwagę na konieczność prowadzenia badań krytycznych w tym zakresie. Do cennego — z punktu widzenia historii kultury baroku — materiału z dyskusji wrócimy jeszcze po publikacji referatów. Wrocławską sesja była krokiem wstępnym do organizacji międzynarodowej konferencji Sobieskiego z okazji 300 rocznicy wiedeńskiego zwycięstwa.

L. HOPP

Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. Каталог изданий хранящихся в Государственной Библиотеке имени В. И. Ленина

Выпуск I. 1574 г. I. половина XVII. в. Составители: Т. Н. Каменева А. А. Тусеба. Москва 1976. 447 Seiten- 820 Abbildungen:

Die Abteilung Seltener Bücher der Lenin-Bibliothek unternahm eine bedeutende Arbeit: sie publiziert kontinuierlich den Katalog der in der Ukraine gedruckten alten kyrillischen Bücher ihres Bestandes. (Hier bemerken wir, daß die geographische Umgrenzung den Grenzen der seit 1945 bestehenden Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik entspricht, d.h. selbst die historischen Landschaften von Galizien und Wolhynien werden einbezogen; ferner, dass die Zeitgrenze des „alten Buches“ — wie es aus der Einleitung hervorgeht — das Jahr 1800 ist.)

Die Publikation wurde für drei Bände geplant; der erste Band, der den Bestand der Epoche von dem Lemberger Auftritt Iwan Fedorows (1574) bis zum Befreiungskrieg des Bogdan Hmelniczki (1648) darstellt, ist bereits in der Zusammenstellung der namhaften Forscherin des ukrainischen Buchdruckes und Verfasserin der Studie über die Druckerei von Černigow T. N. Kamenewa und ihrer jungen Mitarbeiterin A. A. Gusewa erschienen.

Die Verfasserinnen vergleichen in ihrer Einleitung die Moskauer Buchdruckerkunst mit der kyrillischen der Ukraine, wobei sie die Unterschiede betonen. Für die Ukraine ist ein Übergewicht der Privatdruckereien, die zunehmende Rolle der Mäzene, abwechslungsreichere Themenwahl charakteristisch; neben den liturgischen Büchern erscheinen früh die Streitschriften, Lehrbücher (vor allem Grammatiken), Sammlungen von Gelegenheitsgedichten. Das ukrainische Buch ist verzierter

als das Moskauer, seine Struktur ist komplizierter: die syllabischen Verse, die die Wappen und deren Symbolik erläutern, die Widmungen, Vorworte, Register und Nachworte enthalten zahlreiche interessante Informationen von der Entstehung des Buches und von den Mitarbeitern; die Sprache dieser akzessorischen Texte ist nicht mehr kirchenslawisch, sondern die ukrainische Literatursprache der Zeit.

Der Katalog berichtet in chronologischer Reihenfolge über 95 Bücher. Jede bibliographische Beschreibung gilt als eine wertvolle kleine buchhistorische Studie; die Verfasser stellen mit minutiöser Genauigkeit alles fest, was man bei dem heutigen Niveau der Forschung überhaupt wissen kann. Diese Methode ist uns bereits aus den großen zusammenfassenden Werken der 50-er Jahre über die Moskauer zyrillische Buchdruckerkunst von A. S. Sernowa¹ bekannt, unsere Autoren berufen sich auch auf diese Tradition. (8.1.)

Der Katalog schließen sich 5 Register in der nächsten Reihenfolge an:

1. Das *Namenregister* enthält die Namen der Autoren, Drucker, Vorwortschreiber, Mäzene und anderer Mitwirkender, die aufgelösten und zur Zeit noch unaufgelösten Polygramme einbegriffen.

2. *Titelregister*

3. Das Register der Druckorte zeigt, daß die Zusammensteller die Produkte von ungefähr 20 Druckereien bearbeitet. (Die Mehrzahl dieser Druckereien hörte Mitte des 17. Jahrhunderts zu drucken auf.)

4. Das ikonographische Register umfaßt die historischen, biblischen und hagiographischen Themen der Holzschnitte in den Büchern, seine Anführungen beziehen sich bereits auf 820 nummerierte Abbildungen. (siehe im weiteren!)

Das 5. *Register* war wohl am meisten arbeitsintensiv; hier wurden alle Verzierungen (Kopfleisten, Schlußstücke, Wappen, Buchdruckerzeichen, Titelblatt-Rahmen) sowie das erste und alle späteren Vorkommen der Illustrationen in der Größe eines ganzen Blattes chronologisch registriert, wobei die Fundstellen auch angegeben werden. Anhand dieses Registers können wir der späten Anwendung und „Wanderung“ der Holzstöcke von Iwan Fedorow und Petr Mstislawez genauso gut auf der Spur folgen, wie den westlichen Kontakten der frühen ukrainischen Druckereien. (Darlegung des Problems auf den Seiten 9—10, Literaturnachweis in Fußnoten ebenda.)

Ein kumuliertes Register der Holzschneider wird im 3. Bd. des Katalogs veröffentlicht.

Die Abbildungen zeigen die Buchverzierungen in Originalgröße, nur die Schnitte, die ein ganzes Blatt erfüllen wurden verkleinert. Der Katalog ist ausgezeichnet geeignet verstümmelte Bücher zu definieren, so wird er wahrscheinlich als ein ständig benutztes Nachschlagewerk für alle ungarischen Fachleute gelten, die sich mit alten zyrillischen Büchern beschäftigen. Ihre Zahl wird wohl von Jahr zu Jahr größer sowohl in kirchlichen als auch in staatlichen Sammlungen. Dadurch geht man langsam auch der am Ende der 50-er Jahre gestellten Forderung nach, die Bearbeitung der bei uns aufbewahrten alten kirchenslawischen Bücher zu fördern.²

Zu den Gesagten wollen wir noch zwei kritische Bemerkungen hinzufügen:

1. Der Katalog erschien in insgesamt 2000 Exemplaren, diese Zahl ist sehr gering, selbst wenn man nur die Ansprüche der osteuropäischen Forscher und Bibliotheken berechnet.

¹ Орнамента книга московской печати XVI.—XVII. веков. Москва, 1952. und Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI.—XVII. веках. Москва, 1958.

² Diskussionsbeitrag von Emil Balczyk zu der Vortragsrede von István Kniezsza über die Probleme und Aufgaben der ungarischen Slawistik. In: MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei XII. (1958) s. 97. (= Mitteilungen der Ungarische Akad. d. Wiss., Abt. Sprach- und Literaturwiss.)

2. Die Verfasser deuten auf Seite 8 ihr Vorhaben an, in dem 2. und 3. Band die Produkte von insgesamt 5 bzw. 3 Druckereien publizieren zu wollen und daß die ganze dreibändige Serie nur das Material der Druckereien Lawra zu Kiew und das der stauropagianischer Kirchenbrüderschaft zu Lemberg restlos enthalten wird. Welche Druckereien werden fehlen, was für Gesichtspunkte können die knappere Veröffentlichung rechtfertigen?

Die Zukunft wird wohl diese Fragen beantworten. (Die Präjudication ist zwar unangebracht, doch befürchten wir, daß die uniierte Epoche der Lawra von Počaew aus kirchenhistorischen Gründen zu dem fehlenden Teil gehören wird.)

Nach dem verheissungsvollen Anfang erwarten wir die Fortsetzung mit Interesse!³

E. Ortozi

³ Besten Dank Herrn E. L. Nemirowski für das Rezensionsexemplar!

INDEX

В. К. Журавлев—В. П. Нерознак: Проблемы реконструкции праязыкового состояния	5
А. В. Гладкий: Описание синтаксической структуры предложения с помощью систем синтаксических групп. Лингвистическая интерпретация (Продолжение)	21
Л. Хуняди: Отрицание и конструкции с числительными в современном русском языке	51
Е. Iglói: Die Erscheinungsformen des Patriotismus in der „Erzählung“ Avraamij Palicins . . .	57
Ю. Борсукевич: В. Г. Белинский о закономерностях русского историко-литературного процесса	69
Л. Каранчи: Психологические мотивы в творчестве Гоголя	77
I. Fried: Romantik, serbische Volksdichtung, ungarische Literatur	97
В. М. Маркович: Трагическое в сюжете романа И. С. Тургенева «Накануне»	105
Л. Аллен: Монархический принцип у Достоевского (К вопросу об отношении автора к герою как важнейшем компоненте структуры «образа автора»)	123
Й. А. Мати: Изображение пространственно-временных отношений в рассказе Ю. Нагибина «Эхо»	131
L. Jagustzin: A Version of Mythopoetic Thinking: a Contribution (Ivanov: Coloured Winds)	137

Critica et Bibliographia

Б. А. Успенский: Первая русская грамматика на родном языке (<i>П. Лили</i>)	147
Sesja poświęcona Sobieskiemu (<i>Л. Нопп</i>)	151
Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. Каталог изданий хранящихся в Государственной Библиотеке имени В. И. Ленина (<i>Е. Ојтози</i>)	152

СОДЕРЖАНИЕ

В. К. Журавлев—В. П. Нерознак: Проблемы реконструкции праязыкового состояния	5
А. В. Гладкий: Описание синтаксической структуры предложения с помощью систем синтаксических групп. Лингвистическая интерпретация (Продолжение)	21
Л. Хуняди: Отрицание и конструкции с числительными в современном русском языке	51
Э. Иглои: Формы появления патриотизма в «Сказании» Авраамия Палицына	57
Ю. Борсукевич: В. Г. Белинский о закономерностях русского историко-литературного процесса	69
Л. Каранчи: Психологические мотивы в творчестве Гоголя	77
И. Фрид: Романтизм, сербская народная поэзия, венгерская литература	97
В. М. Маркович: Трагическое в сюжете романа И. С. Тургенева «Накануне»	105
Л. Аллен: Монархический принцип у Достоевского (К вопросу об отношении автора к герою как важнейшем компоненте структуры «образа автора»)	123
Й. А. Мати: Изображение пространственно-временных отношений в рассказе Ю. Нагибина «Эхо»	131
Л. Ягустин: Новые материалы по одной версии мифопоэтического мышления (Иванов: Цветные ветра)	137

Критика—библиография

Б. А. Успенский: Первая русская грамматика на родном языке (<i>П. Лили</i>)	147
Sesja poświęcona Sobieskiemu (<i>L. Норр</i>)	151
Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. Каталог изданий хранящихся в Государственной Библиотеке имени В. Н. Ленина (<i>Е. Ојтози</i>)	152

TABLE DES MATIÈRES

V. K. Jouravliov—V. P. Neroznak: Problèmes de la reconstruction d'un état de langue primitive	5
A. V. Gladky: Description de la structure syntactique de la phrase par le système des groupes syntactiques. Interprétation linguistique (suite)	21
L. Hunyadi: Négation et syntagmes numériques dans le russe contemporain	51
E. Iglói: Expressions du patriotisme dans le « Récit » d'Avraami Palitsine	57
Y. Borsoukevitch: Le processus de l'histoire littéraire russe et ses lois selon V. G. Belinski	69
L. Karancsy: Motivations psychologiques chez Gogol	77
I. Fried: Romantisme, poésie populaire serbe, littérature hongroise	97
V. M. Markovitch: Le tragique dans le sujet du roman de I. S. Tourgueniev « A la veille »	105
L. Allain: Le principe monarchique chez Dostoïevski (Le problème de la relation de l'auteur vis-à-vis du héros comme l'aspect le plus important de la structure du personnage de l'auteur).	123
J. A. Matyi: Représentation du temps et de l'espace dans la nouvelle intitulée « Echo » de Nagibine	131
L. Jagusztn: Sur une variante de la pensée mythopoétique (Ivanov: Vents de couleur)	137

Critique et comptes rendus

Б. А. Успенский: Первая русская грамматика на родном языке (<i>П. Лили</i>)	147
Sesja poświęcona Sobieskiemu (<i>L. Hopp</i>)	151
Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. Каталог изданий хранящихся в Государственной Библиотеке имени В. И. Ленина (<i>Е. Оjtozi</i>)	152

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Felelős kiadó: *dr. Kónya István*
Felelős szerkesztő: *Iglói Endre*
Technikai szerkesztő: *Lieber László*
A kézirat nyomdába érkezett 1980.
Megjelent: 1981.

Készült monószedéssel, íves magasnyomással,
az MSZ 5601—50 és az MSZ 5602—56 szabvány szerint
Példányszám: 700. Terjedelem 14,7 A/5 ív
81.510.66-19-2 Alföldi Nyomda, Debrecen

NOS COLLABORATEURS

LOUIS ALLAIN

professeur, titulaire de la Chaire de littérature russe à l'Université de Lille
(France, Lille)

Y. BORSOUKEVITCH

maître de conférences à la Chaire de philologie russe à l'Université de M. Curie-Skłodowska
(Pologne, Lublin, Nowotki 14.)

ISTVÁN FRIED

(v. Slavica XVII.)

A. V. GLADKY

(v. Slavica XVII.)

LAJOS HOPP

(v. Slavica XV.)

LÁSZLÓ HUNYADI

maître-assistant à la Chaire de langue russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

ENDRE IGLÓI

(cm. Slavica XIV.)

LÁSZLÓ JAGUSZTIN

(v. Slavica XV.)

V. K. JOURAVLIOV

directeur de recherches, docteur des sciences philologiques, l'Institut de Linguistique de l'Académie de l'URSS
(l'URSS, Moscou, rue Marx et Engels 2/14)

LÁSZLÓ KARANCSY

(v. Slavica XI.)

PÁL LIELI

professeur adjoint
(v. Slavica XIII.)

V. M. MARKOVITCH

maître de conférences à la Chaire de littérature russe
(l'URSS, Leninigrad)

J. ANNA MATYI

(v. Slavica XVII.)

V. P. NEROZNAK

attaché de recherches, candidat des sciences, l'Institut de Linguistique de l'Académie de l'URSS
(l'URSS, Moscou, rue Marx et Engels 2/14)

ESZTER OJTOZI

(v. Slavica XII.)